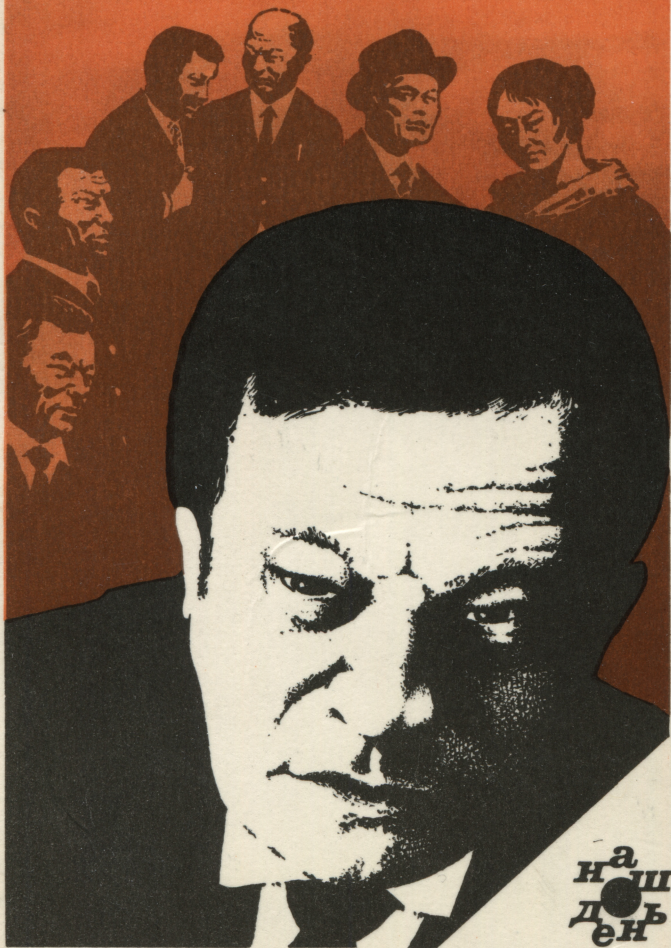


ХАКИМЪЯН
ЗАРИПОВ

ПРИГОВОР



наш
ден

82 коп.

ПРИГОРОД ХАКИМБЯН ЭАРИПОВ

ХАКИМЬЯН | ПРИГОВОР
ЗАРИПОВ



ХАКИМЬЯН | ПРИГОВОР
ЗАРИПОВ

ПОВЕСТИ

Перевод с башкирского
ЭРНСТА САФОНОВА

«СОВРЕМЕННОК»
МОСКВА
1977

Зарипов Х. С.

З-34 Приговор. Повести. Пер. с башкир. и предисл. Э. Сафонова. М., «Современник», 1977.

286 с. (Наш день).

В книге поднимаются вопросы о чести и человеческом достоинстве, об ответственности каждого за судьбу подрастающего поколения. Повесть «Приговор» вскрывает сложные нравственно-этические проблемы в работе юристов. Прозу Х. Зарипова отличают динамично развивающийся сюжет, острые психологические характеристики героев.

З $\frac{70303-101}{M106(03)-77}$ 180—77

С(Башк)

Две повести, составившие эту книгу, не одинаковы по описываемым событиям, но их роднит взволнованная авторская мысль: бойтесь равнодушия в самих себе! Равнодушные, незаметно входя в привычку, не только способны сделать глухим и слепым ваше сердце, — оно часто становится источником несчастья для окружающих вас людей... Примеры? Их много в сборнике Х. Зарипова, писателя, стремящегося в своих произведениях осмыслить те жизненные явления, человеческие драмы, свидетелем которых он был, продолжительное время работая народным судьей одного из городских районов Уфы.

Можно к месту упомянуть, что для литератора зал судебного заседания — необыкновенно богатое поле наблюдения людских характеров в самых острых, конфликтных ситуациях. Человек, взывая к Правосудию или отвечая перед Законом, бывает принужден открыть авторитетному суду, а значит — обществу, какую правду он отстаивает, в чем видит справедливость; если же уличен в совершении зла — почему оказался на порочном пути... Недаром известные ро

маны Л. Толстого, Ф. Достоевского, других крупных писателей строились на происшествиях из судебной хроники.

Конечно, тени великих классиков потревожены тут не ради того, чтобы как-то подчеркнуть особенность писательского метода Х. Зарипова, делающего хоть и обнадеживающие, но все же пока первые свои серьезные шаги в литературе. Просто видится необходимость отметить: Х. Зарипов, успешно владея словом, создает свои повести на богатом, выверенном жизнью материале, и за каждым из его персонажей — реальные судьбы. Правда, когда выше я упомянул про «примеры», — не надо понимать буквально, что писатель, скажем, насытил книгу фактами из судебных протоколов. Нет, разумеется! И «Вина», и «Приговор» — при явном тяготении к «юридической» теме — та самая художественная проза, которую, кроме всего прочего, отличают строгие принципы выбора изобразительных средств, определенность характеров и обстоятельств, занимательность сюжета, наконец — и четкая идейно-художническая позиция автора... Короче, перед нами книга не судьи, решившего выступить с полудокументальными *записками* из своей практики, а именно произведения литератора, использующего в творчестве сведения, почерпнутые в напряженной атмосфере судебной деятельности.

И, следуя выбранному им главному направлению (обличение равнодушия!), Х. Зарипов, заостряет читательское внимание на проблеме, всегда тревожащей общество: какие причины способствуют возникновению преступности среди подростков? Почему на скамье подсудимых порой оказываются те, кто только вступает в жизнь, по существу — в силу малолетства — еще

не осознавшие всей ее сложности, красоты и суровой требовательности? Так, «выпавший» из семьи, как птенец из родимого гнезда, представленный сам себе, быстро попадает в трагедийную обстановку пятнадцатилетний Риф (повесть «Вина»). Другой мальчик, Айрат (повесть «Приговор»), доверчивый, с чистой, открытой друзьям душой, совершает уголовно наказуемый проступок, не задумываясь о всех последствиях его... Но и в первом, и во втором случае читатель, соглашаясь с автором сборника, поймет, наверно, что корни беды надо искать прежде всего в равнодушии взрослых, той самой *гражданской* безответственности, которая, в конечном счете, тоже преступление. И если это преступление *не действие*, подпадающее под определенные статьи судебных кодексов, то уж точно — преступление перед *совестью*, перед нравственностью...

Поэтому испытывает пугающее чувство внезапного духовного крушения отец Айрата, судья Галиакберов, непреклонный (чем сам немало гордился) в своих суждениях и решениях работник. Галиакберов с запозданием, уже не умея что-либо изменить, прозревает: по праву карая виновных, вынося приговоры—он никогда *не страдал* никому и, механически применяя справедливые уголовные законы, больше руководствовался принципом «я так хочу», когда следовало бы исходить из старого мудрого положения, издавна утвердившегося в отечественной юридической школе: «я не могу иначе». И разве в этом диктаторском волепроявлении «я так хочу»—не то же самое опасное равнодушие, в жестком виде причем?

Внимательный читатель подметит, вероятно, что Х. Зарипов до «безжалостности» драмати-

зирует события в книге, а в судьбах его героев прослеживается определенная *похожесть*. Например, выведенные на страницах повестей подростки обязательно наделяются автором какими-либо яркими врожденными способностями (редкостный музыкальный слух; задатки хорошего художника), а пережитое когда-то в юности адвокатом Байназаровым («Приговор») повторяется в биографиях Мансура Ардаширова, Васи Малышева, чье детство так же печально изуродовано дикостью опустившихся родителей, безразличие других людей, не поспешивших на помощь... Этим самым писатель хочет ярче, бесспорнее убедить нас, как много еще нерешенных вопросов в воспитании подрастающей смены, как подчас легко и нелепо перед самым взлетом может быть загублен талант, который, если бы дали ему развиться, одарил бы, возможно, мир чем-то неповторимо новым и удивительным! А ведь знаем: по-своему талантлив каждый человек, лишь бы вовремя и правильно обрел он свое место в большой жизни, в отзывчивом к нему трудовом коллективе. И потому-то, по мнению автора повестей, так трудно поправимы в будущем, так горьки бывают наши общественно-социальные потери — когда из-за равнодушного недосмотра взрослых на скамью подсудимых попадают несовершеннолетние, когда после вынесения приговора в гнетущей тишине выводит их из зала хмуро-озабоченный конвой.

Как переводчик этой книги, причастный, следовательно, к созданию ее «русского» варианта, надеюсь, что она окажется интересной и полезной читателям, им запомнится имя писателя из Башкирии: Хакимьян Зарипов.

Эрнст САФОНОВ

ВИНА

Босиком, в одном белье шла Зилара белой песчаной равниной. Злое солнце невыносимо пекло, прожигало, казалось, насквозь ее непокрытую, с распущенными волосами голову. И ступни ног... о, как тяжело им, необутым, на раскаленном сыпучем песке!

«Куда я? Почему?..»

И нет конца дальнему пути. За спиной — долгая цепочка следов, впереди — прежнее ослепительное и горячее безмолвие песков.

Тонкое белье, не выдержав яростного огня солнечных лучей, — лоскут за лоскутом — поползло с тела... Голая! Совсем теперь она голая. Как прикрыться?! И, бог весть, сколько продолжаться такому — идти, идти, идти...

Как вдруг зашипевший позмеинному песок стал быстро уходить из-под ног, тяжело поплыл в стороны и назад, и, оглянувшись, теряя равновесие, она задохнулась страшным душераздирающим криком. Бездна! Все пройденное пространство проваливалось в черную бездну... Ее саму затягивало туда же, в громадную горловину стремительно расширяющегося подземелья... Кромешный мрак вокруг. И

откуда-то снизу — тяжелые, глухие удары. «Сердце земли, — обреченно, поддаваясь неизвестности, смиряясь с ней, подумала она. — Сердце земли бьется как у человека...»

— Зилара...

Кто зовет?

— Проснись же, Зилара!

Вся мокрая, в висках — тупая боль. Никак не стряхнуть с себя ужаса бредового сна.

— Ты кричишь, в дверь стучат, — встревоженно сказал муж, нащупывая ногами шлепанцы у кровати. — Долбят — дверь с петель сорвут.

— Кто это там? — приподнялась она на подушке. — Спроси сначала, Муртаза... не открывай сразу!

— Подумать только... четвертый час ночи, — проворчал муж, направляясь в переднюю. — Тише, тише, вы! Иду...

На частые, не прекращавшиеся удары в дверь жалобным треньканьем отзывалась в серванте посуда. Может, какой-нибудь пьяный? Перепутал квартиру?

Чутко вслушивалась Зилара: вот щелкнул предохранитель замка, звякнула сброшенная цепочка... удивленное восклицание мужа... еще чей-то голос там, в прихожей...

— Кто это к нам, Муртаза?

И — муж: не ей — тому, вошедшему:

— Что с тобой?! Да отвечай же, Риф!

Имя сына—«Он, Риф!»—сорвало ее с постели, тревожная мысль обдала холодом: не с бабушкой ли что? Иначе зачем — вот так, ночью?..

Восьмой год уже — с тех пор, как Зилара, расставшись с первым своим мужем Вакилом, стала женой Муртазы, — Риф живет под Уфой, в поселке у ее матери.

«Что же там?»

Придерживая на груди ночную рубашку, метнулась к двери...

— Сыночек!

И замерла потрясенно.

Ужасен был вид сына: всклокоченные волосы, какие-то безумные, будто остекленевшие глаза, перепачканная—в известке и грязи одежда и... кровь. На трясущихся руках его, на воротнике голубенькой тенниски, даже — темными запекшимися крапинками — на смертельно бледных щеках и лбу... Хулиганы порезали?

— Сынок, что стряслось... не молчи!

Риф, вздрогнув от ее плачущего вскрика, словно очнувшись от оцепенения, зарыдал и бросился к ней. Сотрясаясь худым мальчишеским телом, зарывался лицом в батист ее рубашки: в бессвязных горячечных словах были страх и мольба:

— Мама, помоги... за мной гонятся, мама... а я не виноват... не виновата-а-ат!

Ее саму била дрожь; Муртаза, отчим, вжался в стену — растерянный, тоже ничего не понимающий...

— Гонятся? Кто, сыночек?

— Я не виноват, мама, поверь... честное слово, не виноват...

Сын опустил на пол, припал к ее коленям; она машинально приглаживала его густые русые волосы и словно ждала, надеялась, что вот-вот окончится это... сон ли, бред, ночное чаваждение? Окончится!..

Но—нет. Чудовищные видения сна—они минутами раньше были, они там, в спальне, остались... А ужасающее ощущение близкой бездны, только что пережитое во сне, оно не ушло, нарастает с неотвратимой силой — теперь уж ная-

ву. У края непонятной бездны... сама она, сын, все они... у края какой-то бездны...

— Сы-ынок, что ты натворил? Кровь эта... откуда?

— Спрячьте меня...

— Да почему... почему?

Муртаза рывком поднял Рифа с пола, потребовал:

— Объясняй!

Страх, не уходящий страх — в мокрых глазах Рифа, во всей его сжавшейся фигурке. Судорожно дергающийся рот — и одни и те же, как заклинание, слова:

— Не виноват я... не виноват...

Ночная тишь сонной гордской улицы — там, снаружи — вдруг отозвалась громким, злобным собачьим лаем. Чьи-то голоса — внизу, под окнами их квартиры... И в подъезде тотчас сильно хлопнула входная дверь.

— Это за мной, ма-ма-а... Пропал я! — Риф бросился из прихожей в комнаты. — Да спрячьте же меня куда-нибудь... мама! Сейчас поймут... что сделают со мной... о-о-о!..

— Негде у нас прятаться, — резко оборвал Рифа отчим, — негде! Не будет этого!

Говорил и опасливо смотрел на дверь, к которой — слышно было — приближались люди с собакой: та нетерпеливо повизгивала.

Требовательный приказ из-за двери:

— Откройте. Милиция.

Риф, снова оказавшись возле матери, прижался к ней — как раненый птенец, ищущий спасения под родимым материнским крылом. Она притиснула его голову к своей груди.

— Ах, сынок, пропали мы с тобой!

Такое чувство было у Зилары, что неведомая беда, вступающая на их домашний порог, —

она прежде всего не сына ищет... ее ищет. Сын что — он мальчик...

Как только Муртаза открыл дверь — высокая серая овчарка, сдерживаемая на поводке, проводником, угрожающе рыча, рванулась к Рифу, и тот, пронзительно закричав, кинулся в спальню, вцепился в никелированные прутья кроватной спинки... Проводник, успокаивая собаку, оттаскивал ее к двери, а два милиционера молниеносно — привычно и умело — обыскали Рифа, заставили его сесть на табуретку, сказав, чтоб сидел тихо и не мешал им, — тут же установили, кто в этой квартире кто, и начали составлять протокол. Зилара, на которую Муртаза набросил халат, ломала руки, убито повторяла:

— Это мой сын Риф... он живет не здесь, в поселке... он ничего не мог сделать... он мой сын... здесь какая-то ошибка, уверяю вас...

— Обо всем расскажете в отделении милиции, — прервал ее милиционер с офицерскими звездочками. — Вы должны явиться туда к восьми утра. Сейчас выпишем вам повестку.

— Повестку?

— Так точно.

— Но за что... за что вы моего сына?

Офицер снял фуражку с красным околышем, пригладил ладонью потные волосы, внимательно и вроде бы даже сочувственно посмотрел на нее, Зилару, перевел взгляд на верно закуривающего, ломающего о коробок спички Муртазу — и устало, негромко проговорил:

— Ничего хорошего... Ваш парень подозревается в убийстве...

— Что?!

— Не я... не я! — взвился и раскололся, как стеклянный, голос сына.

— Ти-ихо! — сказал ему тот милиционер, что был возле него. — Сидеть смирно.

— Следствие покажет, — так же устало заметил офицер.

Скалила желтые клыки, била хвостом о паркет напряженная, со вздыбленной шерстью овчарка...

— Не может быть... мой сын не мог... нет, нет! — шептала Зилара, птясь от стола, на котором лежала повестка.

Вместо лица Рифа виделось ей какое-то неопределенное, расплывающееся пятно. Оно ускользало, смещалось, темнело — и не поддержи Зилару вовремя подскочивший Муртаза, она, наверно, упала бы...

Медлительный сумрачный рассвет нехотя вползал в квартирные окна, а вместе с ним с улицы входил шум близящегося рабочего утра: гудели ранние машины-фургоны, везущие в магазины хлеб и молоко, кто-то кричал со своего балкона дворнику, усердно шаркающему по тротуару метлой, и там же, внизу во дворе, выколачивая пыль, методично били палкой по тяжелому ковру. Бум-бум-бум... А на кухне из плохо привернутого крана тоже методично падали и гулко дробились о раковину капли воды.

Так же тупо и неотвязно стучало в висках у Зилары.

Потерянно сидела она у стола, уставясь невидящим взглядом в одну точку. Муртаза, пытавшийся поначалу как-то расшевелить ее, отвлечь, настроить на разговор, увидев, что ничего из этого не получается, ушел в другую комнату, вскипятил чайник, угрюмо пил чай.

«Ваш парень подозревается в убийстве...»

Чего только она не передумала с того мо-

мента, как милицейский патруль увел Рифа... Подозревается в убийстве... О, боже! Это ее саму — как ножом в сердце ударили. Ее!

Всего, чего угодно, могла она ждать от жизни... мало ли случается внезапных несчастий... но такое?! Сын, которому нет еще шестнадцати, которому расти, учиться, радоваться, радовать ее... возможно ли! И должен он быть в поселке, у бабушки, а оказался тут, в городе, милицейская овчарка шла по его следам, чужая кровь на рубашке и лице... *чужая!*

Где силы взять? С ума можно сойти...

Сейчас конец августа, а они с Муртазой ездили в поселок в самом начале лета... Да, именно в начале лета, когда еще не поспели овощи, яблоки в садах зеленые были, но дни, она помнит, стояли жаркие-жаркие, город задышался в духоте, каблуки вязли в размягченном зноем асфальте, и по выходным в вагонах пригородных поездов приходилось стоять: битком в них бывало, ни одного свободного местечка... Горожане рвались на природу! От сына и бабушки давно никаких вестей не поступало — и она, Зилара, уговорила мужа тоже поехать, как все, на электричке! Но не просто где-то отдохнуть — именно туда, в поселок: там же светлая речка с желтыми песчаными косами, там у матери в погребке и кладовках чего только нет — ешь-пей на здоровье! Маленькое развлечение будет для них, а заодно, что втайне она считала главным в этой предпринимаемой поездке, — увидят, как Риф живет, что у них с бабушкой...

Муртаза отнекивался, ворчал — не хотелось ему тащиться на электричке. Его «Волга» уже неделю стояла на ремонте, и на техстанции говорили, что с месяц-полтора она еще у них

простоит: ремонт сложный, очередь большая... В конце концов он все же поддался на уговоры Зилары, зачехлил удочки, оделся в спортивный костюм — и они отправились. А в поезде попалась такая веселая компания — всю дорогу песни пели, шутили, анекдоты рассказывали, — не заметили, как доехали до своей станции. Зилара так беззаботно, легко смеялась, самые модные современные песенки первой запевала, других за собой вела — мужчины в вагоне поглядывали на Муртазу с завистью: какая красивая, милая жена у него — не соскучишься с ней! У Муртазы — она видела — было гордое лицо.

Однако лишь только спрыгнули из вагонного тамбура на платформу и Зилара встретила глазами с хмурым, исподлобья, взглядом поджидавшей их матери — Файрузы-эби, она с внезапной тоской поняла: веселье кончилось... У матери всегда-то был тяжелый, капризный характер, а с годами она вовсе превратилась в брюзгу: скорбно поджатый рот, едкие, обличающие слова — про соседей ли она говорит, про погоду на дворе, про то, о чем утром по радио слышала... Все не по ней, все ее раздражает. Вдали от матери, живя совсем иной, чем здесь, в поселке, жизнью, Зилара как бы напрочь забывала про это: что мать такая, что Рифу, скорее всего, не сладко приходится тут... Забывала ли, а может быть, обманывала себя, что ее мальчик — поскольку он единственный внук у Файрузы-эби, наполовину «сиротка» — никогда не будет ею обижен. Старый да малый — они-то уж поймут друг дружку, приладутся один к одному!

Не успев толком поздороваться, мать сердито сказала ей:

— Сын твой совсем от рук отбивается. Перечит на каждом шагу, не слушается, норовит все по-своему сделать. Никакие уговоры до его ушей не доходят...

Пожевала губами и, цепко оглядывая дочь, ее второго мужа, которого знала плохо, видела всего несколько раз, но он, как ни странно, нравился, кажется, ей, — проговорила с глубоким вздохом:

— Чего от своих-то танть... Сын твой, мошенник, этакий, курить стал.

— Да ну?!

— Понюхаешь — изо рта-то разит...

И когда Риф, увидев их, идущих к дому, с возгласом: «Мамочка!» — бросился навстречу, Зилара, хоть сердце ее при виде сына нежно дрогнуло, спросила как можно строже:

— Так что — куришь?

Риф, опустив голову, отступил на шаг...

— Подойди-ка сюда... ну! Дыхни.

Риф не стал отпираться; покраснев, прошептал.

— Курил.

Бабушка торжествующе засмеялась.

— Так, пожалуй, и водку привыкнешь лгать, чертенок! — гневно закричала Зилара, которой перед мужем стыдно было: и за мать, что та встретила их жалобой, и за Рифа, к которому Муртаза относился и так отчужденно. — Не пьешь ли ты водку, негодник?

— Было, было, — тут же подхватила Файруза-эби, будто только и ждала этого вопроса. — Он думал, что я, старая, не замечу, а я уловила... Пил со своими распрекрасными дружками! Будь они, мошенники, бандиты такие, трижды прокляты... В рюмочку нос его смотрит!

Вконец раздосадованная, Зилара уже не могла сдержаться — крепенькую трепку задала Рифу. Обозвала «неблагодарным» и «мучителем», даже за вихры разок-другой дернула. Правда, Муртаза остановил, сказал, поморщившись: «Он большой парень, почти жених... не надо с ним так...»

Но часом позже, на реке — под солнцем и в прохладе синей воды, — настроение поправилось. Плавали с Муртазой наперегонки, дурачились, как дети, на ласковом золотом песочке валялись, и зеленая стенка густого кустарника скрывала их от чужих любопытных глаз... Так увлеклись — чуть на последний поезд не опоздали. Чай пили торопливо, ежеминутно поглядывая на часы, и она — теперь просительно — говорила сыну:

— Не станешь больше курить? Не притронешься к вину? С плохими ребятами водиться не будешь? Ну, сыночек, успокой меня... Ты же хороший, я знаю, добрый, умный...

Риф молчал, упрямо сжав не по мальчишески твердые губы. Что тогда было на его лице: уныние, грусть, обида?

Он не пошел провожать их на вокзал.

Когда же до отправления пригородного поезда оставалось совсем ничего, из-за домов, как раз с той стороны, откуда они пришли на вокзальный перрон, донесся отчаянный, родной ей голос:

— Ма-а-ма! Ма-а-мочка-а... подожди-и-и!

И в этот момент дежурный по вокзалу дал сигнал к отправлению. Люди бросились по вагонам.

— Ма-а-ма!..

— Риф!

«Как он все же любит меня, — с нежностью

подумала она в тот миг, — как ему, бедняжке, тяжело расставаться со мной... Что же делать-то?!»

Подбежавший сын с трудом переводил дыхание, захлебывался словами:

— Мама... заberi меня с собой, мамочка... не оставляй, заberi! Пожалуйста...

— Что ты, сыночек, что? — растерялась она. — Почему? Разве плохо возле бабушки... в таком доме? Она, дом... как же без тебя?

Сын, не слушая ее, лихорадочно повторял свое:

— Заberi, мамочка... не оставляй меня, мама-а!

Как он молил ее в те куцые секунды расставания, — не забудешь! И она заколебалась было: пусть сын тоже садится в вагон, все втроем приедем в Уфу, что дальше — видно будет, придумаем... Да, да, так было! Но тут сверху, из тамбура, послышался нетерпеливый, повелительный голос Муртазы:

— Хватит, может, торговаться? Зилара, поднимайся!

Сухой голос мужа, как бы подстегнул ее. Муртаза, ухватив за руку, тянул в тамбур, сын же, не отпуская другой ее руки, продолжал жалобно твердить:

— Не оставляй... возьми, мама-а...

И снова Зилара решила: пусть поедет с нами!

И снова, как преграда, — слова Муртазы. Теперь уж не к ней обращенные — к Рифу:

— Что нюни распустил?.. Парень, называется! И вот что, любезный... Сначала научись вести себя, примерным человеком стань, чтоб мать не краснела за тебя... а потом... вот потом приедешь.

Риф какое-то время бежал по платформе рядом с набирающим скорость составом...

— Сынок! — закричала Зилара, высовываясь из тамбура. — Подожди, сыно-о-ок...

Что Рифу нужно было «подождать» — вряд ли она сама знала.

Муж крепко взял ее за локоть, оттащил от поручней, подтолкнул к двери вагона; прошептал недовольно:

— Вытри слезы — люди пялятся. Спектакль устроили! Не дурочка ж ты...

Все это припомнилось сейчас Зиларе в мельчайших подробностях. «Значит, сын предчувствовал беду, уже тогда он боялся...» — подумала она, содрогаясь от ужасной мысли, что не только не смогла — не захотела предотвратить эту самую беду. Не откликнулась на горестный крик души сына, не поняла... Оставила своего мальчика в одиночестве. Бросила!

Плакала, уткнувшись лицом в скатерть стола.

Подошел Муртаза, мягко положил ладони на ее плечи, стоял за спиной, вздыхал. Потом что-то говорил, успокаивая... Сослался на то, что сегодня оперативное совещание в кабинете директора завода — должен уйти из дома пораньше...

Щелкнул замок, хлопнула дверь.

Ушел.

Ей было все равно: тут он, нет ли...

На другом краю стола — рукой дотянуться — лежала повестка. Прямоугольничек, шероховатой бумаги с небрежно вписанными в него милицейской рукой строчками... Сына увели — оставили бумажку.

Сын совершил преступление.

Ее Риф?

Да нет, нет... возможно ль это?!

Они ошибаются!

Но кровь... *чужая* кровь на его одежде, руках, лице...

Собака — по его следу!

По следу ее Рифа...

Он мальчик еще, а за ним со служебной овчаркой...

Нет, не то...

А что?

Голова разламывается от тупой, саднящей боли. Наплывами, издаലെка — давно пережитое, но хранимое сердцем...

Вот Риф — маленький, горластый, тугой, как наливное яблоко, — лежит на ее руках, и приятна, желанна тяжесть этого беззащитного, в муках обретенного тельца... Сын! Она — мать. Беззубые младенческие десны сладостно терзают ее переполненную молоком грудь, синеватые струйки молока стекают с розовых губок сыночка — и она бережно вытирает родимое личико кружевным платком... Расти, мой богатырь!

Ах, это щемящее, восторженно-мучительное чувство — жадное волнение первого материнства, когда через страдания и боль внезапно, как дар за все, приходит жгучая радость обладания миром... Всем миром! Я мать, а мой ребенок — видите? — вот она, сама жизнь... Я дала жизнь ребенку, я даю жизнь миру...

А первые самостоятельные шаги годовалого сына: топ-топ — и пошел, пошел!.. Его ответная, уже вполне осознанная улыбка; первые — смешные, картавые, никому, кроме него самого и матери, не понятные слова... Расти, сынок, расти!

Рос...

Давненько Зилара не травила душу такими — из счастливой поры молодости — воспоминаниями... Трусливо гнала от себя эти воспоминания. Трусливо — а может, гордо? Что оглядываться назад, когда маленькое сегодняшнее счастье ближе и дороже, чем вчерашнее, пусть даже то, минувшее, было полнее и больше! Было да сплыло... А живешь тем, что есть у тебя сегодня.

Гнала прочь...

Но в этот тяжелый час они, обрывочные воспоминания, ринулись из своих неведомых берегов, как речной, разбуженный ледоходом поток. Затапливали они ее — безвольную сейчас, с горячечными, уже сухими, без слез, выплаканными глазами, сжавшуюся в бледной утренней сини августовского дня в жалкий пугливый комочек, посреди знакомых, обласканных ее руками вещей — полированных, хрустальных, синтетических...

Риф, ее Риф...

Мальчиком — еще в том, детсадовском возрасте — он поражал своей необыкновенной музыкальной одаренностью. Стоило ему услышать новую песню — и, смотришь, уже напевает ее, не понимая часто слов, но ничуть не искажая мелодии! А насвистывал как! Когда только научился — не заметили... Но вслушаешься, бывало, в это его посвистывание — и думаешь, в удивлении и восторге: жаворонок свою трель рассыпал, а теперь соловей дробное коленце выдал, какая-то лесная птица в общий птичий разговор вступила... Целый лесной концерт!

В такие минуты муж ее прежний, Вакил, долго и заворуженно смотрел на сына, будто снова и снова открывая его для себя, находя в

нем то, о чем раньше не догадывался, — и говорил ей тихо:

— Ну что тут скажешь, а? Ну чем не соловушка?!

И она, Зилара, опираясь сцепленными кистями рук на плечо мужа, прижавшись к нему, тоже смотрела на сына с горделивым сознанием своего материнского счастья. «В кого он у нас пошел?» — думала она, и память оживляла слышанные рассказы про дядю, брата матери, юношей погибшего на войне. Он так чудно играл на курае, сам сочиняя песни, — и слова, и музыку к ним, что старики прочили ему большую славу. «Если все в мире будет спокойно — этот парень пойдет далеко, обессмертит род и край свой песнями...» Так считали многомудрые старцы, и в районе до сих пор помнят юного певца Даминдара, успевшего оставить землякам несколько прекрасных песен, которые поют нынче как народные.

Вакил, узнав про Даминдара, рассудил:

— Да, наш Риф, скорее всего, пошел в своего двоюродного дедушку. Мы должны помочь ему развить талант...

Тут же решили каждый месяц откладывать деньги на пианино... И копили год, два, три... А за это время тяга подрастающего Рифа к музыке становилась все очевиднее. Как серебряный колокольчик звучал его неутомимый голосок, распеваящий песни. Если же передавали музыку по радио, даже самую серьезную, симфоническую, — мог, казалось, часами слушать ее. Садился напротив приемника, подпирал подбородок кулачками — и забывал обо всем на свете... Зови — не дозовешься!

А какими праздниками были для них летние воскресные дни, когда с туго набитым рюкза-

заком отправлялись они по ту сторону Белой — в лес! Риф — босиком, в майке, выбивающейся из-под красных трусиков, — бегал, смеясь, по высокой траве, приносил им то большущий гриб, то диковинный цветок, то пламенеющие ягодки на липкой, перемазанной зеленью ладошке... Она целовала его в эту ладошку — и он опять убежал, с радостным криком устремляясь за бабочкой или ярким лесным мотыльком. Пел птицы — всякая на свой лад. Риф, увлеченный забавами, расшалившийся, вроде бы не обращал на них внимания. Но вдруг, словно споткнувшись на бегу, замирал — на его еще секунду назад смеющемся личике обозначалась глубокая и тревожная сосредоточенность. Весь превращался в слух! Сужены глаза, сжаты губы, напряжено тело...

Они—Зилара и Вакил—переглянувшись, тоже начинали вслушиваться, стараясь понять, что же так сильно поразило сына... Но на лесной опушке царил все тот же беспорядочный щебет и свист — и ничего нового, удивительного они не различали в этом птичьем гомоне.

«Что ты там услышал?»—спрашивали у Рифа.

Он поднимал тонкие брови, отвечал на вопрос вопросом:

«А разве вам не слышно?»

Риф даже как бы не верил, что они не могут услышать то, чему внезапно подивился он сам, пораженный чистыми, мелодичными звуками, заглушившими для него все остальное...

Перед тем как Рифу пойти в первый класс, купили наконец пианино, и муж, неожиданно получивший большую премию, предложил: давайте-ка махнем по Уралу! Время отпусков совпадает, и, главное, Риф перед школой наберется впечатлений...

Изучив туристские схемы, они выбрали трудный, зато самый живописный маршрут. Чего только не было на их пути: крутые замшелые скалы, редко поросшие белоствольными березами; причудливые речные долины, подернутые голубой дымкой; хвойные чащи, заросли сладкой малины и прозрачные, дремлющие в тихом уединении лесные озера... Пили воду из чистейших студенох родников, следили за медлительным полетом могучих орлов — угрюмых хозяев горных вершин, ночевали под звездным небом у костров... А деревни, которые они проходили, люди, которых встречали.

У Рифа — широко распахнутые, поблескивающие глазенки... Сколько, оказывается, интересного на земле!

Ни одного хмурого облачка — лишь светлая радость была, и они безмятежно и весело купались в ней...

А затем — беда.

Как всегда — вдруг...

Риф в предвечерних сумерках, когда только-только разбили палатку, — она, Зилара, принялась ужин готовить, — полез на высокую сосну. И Вакил, собиравший в тот момент хворост, не видел, как он полез... Бельчонок сидел на ветке, а Риф — к нему: не поймать, так в догонялки поиграть...

Падал Риф, ударяясь о сучья, да еще по крутому склону скатился вниз, на острые глыбы известняка...

Какое это горе для них было — перескажешь ли... Три месяца мальчик провел на больничной койке... Гипс, уколы, вливания, поиски редких лекарств, врачебные консилиумы... Не приведи боже кому из родителей испытать эти муки, эти ежедневные — в непрекращающейся тревоге —

терзания. Вакил сна лишился, почернел, дневал и ночевал у изголовья малыша. «Погубил я сына своего, — то и дело шептал он в отчаянье. — Лучше б мне самому с того откоса свалиться, с самой высокой скалы свалиться б!»

Риф — настал срок — поправился, но в школу, конечно, в этот год не пошел, и что сразу же заметила Зилара — что-то в сыне как бы надломилось, сделало его другим. Не для посторонних глаз — для нее, матери... Стал мальчик возбужденнее, капризней, податливей на слезы. А главное, хоть по-прежнему тянулся к музыке, однако не как раньше. Да-да, она-то это уловила... Встревоженная, обратилась к профессору, который консультировал лечение Рифа в больнице, а тот сурово спросил:

— Такую травму перенес ваш ребенок, такое потрясение — и надеетесь, что это без следа проходит?

И чтобы как-то утешить, наверно, закончил мягче, почти ласково:

— Самый лучший лекарь — время. Создайте ребенку спокойную обстановку... чтоб, понимаете, никаких особых душевных встрясок... Окрепнет и выправится! Бывает такое... н-да...

«Что это я? — встrepенулась Зилара, потирая пальцами набухшие болью виски. — Что сижу, о чем думаю? Сына спасти надо... Спасать! Не виноват мой мальчик... Кто-то другой виноват, но только не мой мальчик!..»

Заметалась по квартире... Скорее, скорее... Умыться, одеться, документы взять, чтоб там, в милиции, увидели: хорошая семья, уважаемые на заводе работники, хороший мальчик... Какие документы могут помочь?

Никак не удавалось слабыми руками открыть шкатулку с семейными бумагами...

Утро уже набрало силу, давно проснувшийся город шумел за стенами, буднично и глухо; и было б совсем светло, если бы не реденький мелкий дождь, моросивший в этот час с низкого неба.

Когда в милиции Зиларе показали снимок жертвы — Зилара, отшатнувшись, протестуя, подняла руку: нет-нет, не надо, не хочу!

Следователь — седеющая, с утомленным лицом женщина — быстро убрала фотографию в папку.

На снимке, потрясшем Зилару, среди каких-то дощатых ящиков и пустых бутылок, подтекая кровью, лежала девушка в растерзанной одежде, со страшными следами ножевых ранений...

Если даже это сделал не сын, то ведь он был там! С теми, другими, кто поднял руку с ножом...

С убийцами он был... так?!

Ее мальчик, ее Риф!..

Или это все-таки чудовищная ошибка, и она непременно обнаружится?

Кричал же Риф: «Я не виноват!» Он кричал так... да-да... Скорее всего, сына насильно втянули в преступление... Оно было совершено на его глазах, но сам он не участвовал. Он не мог участвовать!

Эта мысль стала для Зилары той спасительной соломинкой, за которую она ухватилась с надеждой, что все именно так: через час... через день... через неделю правда прояснится! Правда о невиновности ее мальчика...

Следователя звали Бану Махмутовна Или-кеева, говорила она мягким грудным голосом, в котором Зилара уловила затаенное сочувствие. Наверно, поэтому, хотя сама до конца не сознавая, что как, — Зилара прониклась к Бану Махмутовне доверием. Но и осторожности все ж не теряла: вдруг каким-нибудь поспешным, необдуманном словом она навредит сыну... Впрочем, что бы и как бы она ни сказала — нет в ее сердце ничего темного, подозрительного, настороженного, связанного с именем Рифа. Курил мальчик, разок-другой, как утверждала бабушка, в рюмку заглядывал... ну и что?! Кто из мальчишек в таком возрасте ведет себя иначе? Посмотрите-ка, что подростки во дворах да на улицах выделывают!.. А Риф всегда был скромным, вежливым, даже робким... Втянули его, не сомневается она, втянули! Доверчивый он, поздно понял, куда попал, что творили другие...

— Выходит, случившееся с сыном — неожиданность для вас? — задумчиво произнесла Бану Махмутовна.—Сын ваш, уверены, неспособен на дурное?

— Клянусь, как мать! — с жаром воскликнула Зилара. — Он воспитан на книгах... да... музыкальный очень... тихий, впечатлительный...

— Допускаю,—заметила Бану Махмутовна.—Соглашаюсь даже с вами... Однако тогда нам вместе предстоит распутать загадку: как, почему ваш сын связался с отпетыми хулиганами... преступниками, уже так можно сказать... почему?

— Они арестованы?

— Разумеется. А ваш сын проходит по делу как соучастник.

— Соучастник?! Боже...

— Постарайтесь взять себя в руки.

— Я ничего... извините... я сейчас...

Следователь, налив из графина в стакан, предложила ей воды; по-прежнему говорила мягко, однако настойчиво:

— Давайте установим, как ваш сын... умный, совестливый мальчик, по-вашему, прилично воспитанный... оказался в сомнительной, грязной компании? Это же факт. Как и его участие в... в происшедшем.

— Необъяснимо... не могу понять!

— Нам, например, хотелось бы знать, как вы... лично вы... заботились о своем сыне, как по-родительски контролировали его поступки, школьные дела, все прочее... Насколько мне известно, родной отец Рифа несколько лет назад ушел из семьи — да? Оставил, значит, вас, ребенка...

Эти слова следователя, ввергли Зилару в смятение. Она густо покраснела, низко склонила голову. От нее требуют раскрыть семейную тайну, требует; причем, совершенно чужой человек... Зачем? Не только исповедываться перед кем-то — наедине с собой она старается не думать про то, как все когда-то было.

Ответила следователю сердито:

— Не будем об этом.

И почувствовала: от утомленных, но зорких, все примечающих глаз следователя, не укрылось ни ее секундное глубокое замешательство, ни ее отчаянная, стоившая немалых душевных усилий попытка показаться твердой. Эта женщина — с немалым, как угадывалось, стажем вот такой, следовательской, работы — умела видеть то, что от нее старались скрыть.

— Не хочу настаивать, — сказала она Зиларе.—Однако для пользы дела нам, повторяю, не

мешало б знать, как рос мальчик. Поймите это. Ведь очень серьезные статьи Уголовного кодекса могут быть применены к вашему сыну...

— Но так вот... сразу... нет, не смогу я. Мне необходимо какое-то время... я не готова к этому.

У Зилары, разбитой, с вновь усиливающейся болью в висках, было теперь одно желание: поскорее уйти отсюда, побыть одной... совсем одной. И не хотелось просить об этом следователя — чтоб отпустила та... Но Бану Махмутовна, сама, видимо, догадываясь, что разговор лучше отложить, перенести, — поднялась из-за стола, предложила:

— Встретимся завтра. Но — одну минутку... Вот вам новая повестка. До свидания!

И попрощалась кивком — качнув высоким тугом узлом стянутых на затылке волос.

Зилара торопливо вышла из гулко-го каменного здания, и в лицо ей ударил свежий воздух улицы, насыщенный запахами преющей листвы, недавнего дождя, горьковатого дыма тлеющих мусорных куч в сквере... Бежали навстречу такого же, как ее Риф, возраста мальчишки. А он, сын, томится сейчас за решетчатым окном и железной дверью камеры предварительного заключения... Она в кинокартинах видела, что это такое — *камера*... И Риф там — в камере!

Слезы,—в который раз уже за сегодня — побежали по ее лицу, и люди оглядывались, недоумевая, отчего это плачет быстро идущая по тротуару миловидная, модно одетая женщина, нервно комкающая в пальцах узкие листочки желтоватой бумаги...

И хоть следователь во время беседы ни в чем не обвиняла ее, не упрекала, не сомнева-

лась в искренности ее ответов — у Зилары было такое чувство, что это именно она, Зилара, совершила преступление, началось следствие по ее делу, неминуемо предстоит выслушать приговор... Следователь только словно бы намекнула, что нынешний проступок сына в какой-то степени связан с уходом из семьи отца...

А разве это не так?

В глубине чужого двора Зилара увидела скамью, прошла к ней, ощущая чужую тяжесть в ногах, — и долго сидела тут, отрешенная от всего, что было вокруг.

Прошлая жизнь оживала в ее сознании — голосами, навсегда запомнившимися картинками, неожиданными случаями, мелкими, на первый взгляд, подробностями, которые теперь, с расстояния времени, представлялись очень существенными, значительными... Одно цеплялось за другое, маленькое событие тянуло к большому, и широкая дорога пережитого разветвлялась на узкие, убегающие в стороны дорожки. Они тянулись далеко-далеко, и ей требовалось проследить, где их начало, что было потом... Отчего она в горе сейчас? Да в каком еще горе!..

Но — начало, начало всему!

Где его неприметный кончик в клубке событий?

Как распутать?

Надо, наверно, вспоминать с тех дней, когда ее, Зилару, из цеха перевели работать в заводоуправление — инженером-экономистом планового отдела.

Вакил трудился тут же, на нефтеперерабатывающем, — старшим оператором, технологической установки.

Были они довольны работой, своей жизнью... Да, теперь, когда прошло столько лет, она уверенно может сказать это: были довольны...

Завод... дом... сын... достаток... молодость... надежда, что завтра будет еще лучше... разве мало для счастья?

Значит, все-таки было мало... Или другое: что имеешь — не ценишь; что-то вдруг заманчиво забрезжит вдали, позовет к себе — и думаешь растревоженно: может, подлинное счастье не здесь, рядом, а там оно, только *там!* Не в привычном счастье — в неизведанном...

Впрочем, что философствовать! Тому же следователю милиции ее рассказ важен будет *фактами*, строгой последовательностью этих фактов, а рассуждать над ними, делать выводы — не главное... И не все она, Зилара, сможет рассказать в милиции, есть вещи, о которых не рассказывают; та женщина... как ее?.. Бану Махмутовна Иликеева... она сама, конечно, прекрасно знает, что в любом честном признании, в любой искренней исповеди остаются темные, запретные для оглашения места. Когда речь идет о таких вот взаимоотношениях — *он и она*.

Он — это Муртаза...

Не для следователя исповедь — для себя...

Как было?

Итак, с месяц уже или чуть больше Зилара сидела в плановом отделе заводоуправления.

В плановом — не то что в цеху: тихо, чисто, на подоконниках комнатные цветы, никаких тебе бензиновых паров, и через полусшепот голосов — легкий шелест переворачиваемых страниц, потрескивание арифмометров... Коллектив, в основном, женский. И дружный подобрался! Обе-

дать в заводскую столовую — и то всегда вместе, всем отделом.

В один из таких рабочих перерывов, когда они с шутками и смехом занимали свои привычные обеденные места, к столу подошел очень привлекательный мужчина лет под тридцать и сказал, что у них, видит, один стул свободный, если они не возражают — он займет его... Женщины заулыбались, а молоденькие, только с институтской скамьи девушки — те прямо расцвели. Уже кое-что было известно про этого нового инженера из конструкторского бюро. Что он до поступления на их завод работал как специалист-советник в Африке, имеет свою «Волгу», а главное — до сих пор холост. Понятно, отчего девушки заволновались!

Инженер, поблагодарив, представился: «Муртаза Бикташев», — и присел на стул против нее, Зилары, так что она могла незаметно рассмотреть его...

Загорелое волевое лицо, сильные плечи, мягкая улыбка... Ослепительной белизны сорочка с модным импортным галстуком, искрящиеся камушки дорогих, со вкусом подобранных запонок, золотые часы с золотым браслетом... Поэтому, как аккуратно ест, неслышно управляет-ся со столовыми приборами, предупредителен, умеет неназойливо спрашивать, сам отвечает остроумно, с тактом, — заметно было, что хорошо воспитан, и это, что называется, в крови у него: следит за собой. Зилара впервые подумала тогда: а если посадить рядом с ним ее Вакила — какая ж разница будет?! Вакил, окажись он тут, за столом, хоть сам без пяти минут инженер, осталось ему только диплом защитить, — работяга работягой, деревня, и как ни приодень его — никакой галстук, никакая

шляпа не изменят навсегда утвердившегося облика! Не затерт ведь жизнью, радуется ей, на заводе не из последних, а по виду — будто из неудачников... Вечная хмуроватая озабоченность на лице, равнодушен к тому, как выглядит он, как другие на него посмотрят...

Она заметила, что инженер Бикташев нет-нет да взглянет в ее сторону — и не просто с любопытством, а очень и очень заинтересованно... Другие, скорее всего, не уловили этого — а она почувствовала, кровь прилила к щекам, боялась теперь глаза поднять. Тогда ли, позже представилось Зиларе: на улице, на виду у всех, гордо идет она под руку вот с таким... мужчиной... нет, мужем!.. таким, как инженер Муртаза Бикташев. Сильный, высокий, уверенный, улыбающийся, внимательный... который, одним словом красавец и, видно каждому, удачлив! С которым она сама, одним словом... сама... ну такая, что на зависть остальным!

От этой мысли, пугливой, но возбуждающей, было трудно отделаться.

Дома же Вакил, будто специально выбрав момент, сыпанул пригоршню соли на обозначившуюся ранку в ее душе. Сообщил за ужином, что целых два часа в кабинете директора уговаривали его из старших операторов перейти в начальники установки — и он отказался. Мол, повременю: инженерного диплома в кармане еще нет, молод... и вообще... «Что вообще?! — с досадой переспросила она. — Совсем дурак, да? Ему такой пост предлагают, а он, смотрите-ка, ломается... С грязной спецовкой боится расстаться. Раз такой — возвращайся в деревню свою, копайся там в навозе... все равно ж!» Вакил, помолчав, обиженно сказал, что деревня тут ни при чем, зачем на нее ссылать-

ся, тем более, вспомнить, сама она, Зилара, тоже не из городских; а если ей так хочется видеть его на руководящей должности — что ж (он вздохнул), в понедельник, ладно, пойдет к директору, скажет, что надумал...

Вакил был из покладистых — по отношению к ней, во всяком случае.

Разговор происходил в пятницу, вечером, затем было два выходных, а с утра в понедельник в заводоуправлении уже висел на доске приказ о назначении начальником технологической установки другого человека — тоже из молодых, заочника института, но, значит, более сходливого, более смелого или, как понимала Зилара, более расторопного...

Инженер Бикташев как-то просто, естественно стал постоянным «спутником» их компании в обеденные перерывы, и если почему-то задерживался он, не сразу подходил к их столу — возникало даже легкое волнение: а видел ли кто его сегодня на работе, не заболел ли, не уехал куда?

«Наш мужчина» — так они меж собой, в плановом отделе, шутливо прозвали его. Восторгались галантностью Муртазы Бикташева, образованностью (не было, казалось, ничего такого на свете, чего бы он не знал, о чем бы не мог рассказать!) и, конечно, его умением по каждому поводу вспомнить веселый, смешной анекдот.

Разумеется, Зилара при таких вот, «коллективных», встречах с инженером Бикташевым вела себя, как подобает замужней женщине, сдержанно и скромно. Но—странное дело—хоть боялась себе признаться в этом: сильно задевало, когда Муртаза, развлекая их стол, смотрел своими темными влажноватыми глазами на

всех, кроме нее! Бывало такое ощущение, словно в эти минуты ее обворовывают — беззастенчиво, причем не смущаясь, что она видит!

Но однажды...

Был день получки, девчата, быстро поев, побежали к окошечку кассы, чтоб в числе первых оказаться, долго в очереди не стоять, — Зилара же замешкалась... Неторопливо пил компот инженер Бикташев. Молчали они. Но вот Бикташев отставил стакан, вытер губы салфеткой и, вставая со стула, неожиданно положил свою широкую теплую ладонь на ее пальцы, твердо и спокойно произнес:

— Вы, Зилара Фатиховна, самая красивая женщина во всем нашем управлении. Я должен сказать это вам.

И, не дав ей прийти в себя, тут же поспешил к выходу.

Мир, чудилось, закружился под волшебные звуки торжествующей мелодии, в легком сиянии ласкового солнца... «Боже! Обо мне?! И — как это? «Вы, Зилара Фатиховна, самая красивая женщина...» Я кажусь ему самой красивой женщиной!»

Не имела сил она вот так, сразу, подняться, уйти от стола с грязными тарелками, маслянистыми комочками бумажных салфеток... Стучало сердце, и все вокруг, наверно, слышали, как сильно оно стучало. Она понимала, что сказанные Муртазой Бикташевым слова заключают в себе нечто большее, чем то, что было услышано ею, — в них *тайна*. Они обращены в будущее... В будущее их — его и ее — отношений! Да!

А не ждала ли она — напряженно и страшась — *этого*?

Не на возделанное ли поле были брошены семена?

Ну а затем... Затем, днями позже, совпало так, что они возвращались с работы в одном автобусе, и когда Зилара сошла на своей остановке — Бикташев прыгнул следом.

— Вы, Зилара Фатиховна, где-то там живете, не правда ль? — спросил он, показывая рукой именно в ту сторону, куда ей требовалось идти. — Не ошибаюсь? Значит, нам по пути! Вот хорошо!

С неподдельной искренностью прозвучало его восклицание — и Зилара не усомнилась, что все так и есть, инженеру действительно с ней по дороге, более того, ему приятно это...

А ей?

Разве же не рисовала в мечтах: как они вместе шли бы по улице... рядом... и он что-то говорит ей... все его слова — умные, веселые, ласковые — обращены к ней... только к ней... они для нее одной!

И вот — как виделось... Не грезы — наяву!

Под легким теплым ветерком шелестит листва старых лип на бульваре; предвечернее небо по-летнему светлое, в золоте плывущих облаков; ярко пламенеют цветы на клумбах и из городского парка, ширясь, приподнято, волнуя, плывет мелодия старинного вальса... И хоть на самом деле явь, а будто сон. Зилара не заметила, как дошли до ее дома; сказала тихо, не поднимая глаз:

— Тут я живу.

— Знаю, — ответил он. — И не только это знаю...

— Да? Что же? Простите, но...

— Пусть не удивляет вас, Зилара Фатиховна... — Он помолчал, словно раздумывая, говорить ли, нет, и сказал, как ей почудилось, с внезапной решимостью: — Когда человек тебе

небезразличен — хочешь знать о нем все! И то, где живет, и то, как живет...

— Не шутите так, Муртаза Талипович.

— Слишком серьезный вопрос, Зилара Фатиховна, чтоб шутить...

— Но...

— Позвольте, поскольку решился — разом уж! Вы давно мне нравитесь... Нет, не так! С первого дня, как увидел... Да что там, я обязан прямо, честно признаться вам, Зилара... Я люблю вас!

Есть такое выражение: земля уплыла из-под ног. Что ж, в тот момент Зилара ощутила, что так бывает; убито, растерянно, глупо, наверно, пролепетала она:

— Да... но у меня муж... как же так?!

— И что — муж?! — Бикташев по-прежнему говорил решительно, заглядывая ей в лицо. — Все знаю... Однако я должен был — о себе, своих чувствах к вам...

Он поймал ее руку, сильно и бережно сжал пальцы — и она не отняла руки.

— Прощайте, Зилара.

Ей казалось, что все вокруг — из окон их пятиэтажного дома, из других окон, люди с тротуаров, постовой милиционер на перекрестке, мороженщица у голубого лотка, шоферы проезжавших машин — *все* видят и понимают, что двое, мужчина и женщина, не просто стоят под раскидистым деревом: *он объяснился в любви!* Он сказал ей: *«Я люблю вас...»* На глазах у всего города!

Отняла ладони от пылающих щек, взглянула вслед Муртазе Бикташеву: инженер уходил быстрым, сильным шагом — встречные перед ним расступались... И она, унимая рвущееся дыхание, на ослабших вдруг ногах побежала к

своему подъезду. Казалось опять: десятки, сотни глаз жгут ее.

Вакил работал в ночную смену — на звонок дверь открыл Риф, с радостным криком бросился к ней, уткнулся лицом в ее блузку; она прижала его к себе.

И восьмилетний сын испуганно спросил:

— У тебя слезы... мамочка, почему? Тебя обидел кто-то?

Что в ту пору — тем долгим летом — было с ней?

Мир, обновленный, как бы помолодевший, летел ей навстречу; каждое утро она просыпалась с томительно-радостным ощущением: сегодня что-то произойдет, что-то такое, от чего ее жизнь станет совсем другой! Нет, даже замечая косые взгляды сослуживцев, которые, конечно, видели, что она не отвергает настойчивых ухаживаний со стороны инженера Бикташева, — не боялась Зилара завтрашнего дня, того, каким он будет для нее. Будто при головокружительном вихре, он, этот день, виделся ей в ослепительном мелькании каких-то счастливых мгновений, и больше всего опасалась она одного: чтобы не исчезли, не ускользнули эти пока неясные, загадочные, но зовущие к себе мгновенья!

Не падение это было — неудержимый взлет... Так, во всяком случае, она чувствовала тогда.

И лишь чистый, удивленный взгляд сына, когда она, возбужденная, занятая своими мыслями, натыкалась на него, улавливала в родных карих глазенках недоумение, — лишь это заставляло сердце сжиматься, в такие секунды

могла она подумать: куда качусь? Ведь вот он, сын... и муж... семья...

Но Муртаза Бикташев — с его чарующей улыбкой, мягкой предупредительностью, его мужским благородством, как представлялось тогда, — был сильнее ее неуверенных сомнений... Это он заполнил собой и изменил для нее мир... Теперь они чуть ли не ежедневно возвращались с работы вместе, и Зилара радовалась, что Вакил трудится по скользящему цеховому графику: у них там, на установках, распорядок времени совсем другой, чем у служащих заводоуправления.

Когда в автобусе они с Муртазой оказывались на одном сиденье или просто стояли в проходе, сжатые телами других, — он незаметно для всех находил ее руку и так, пальцы в пальцах, держал до конечной остановки. Молчаливый, тайный «разговор» их рук был сильнее всяких слов. Она верила, что только сейчас, *впервые*, встретила свою настоящую любовь, такую, что прославляется в книгах и кинофильмах, которая дает человеку всю полноту и неповторимость счастья... Правда, в тот, первый месяц не могла еще вслух, открыто признаться в этом Муртазе, не могла и не хотела, находя в таком *молчании* какое-то спасение, оправдание себе. словно бы тем самым — считала — продолжается ее верность мужу, сыну, семейному очагу, который она была обязана беречь и хранить... А Вакил, озабоченный неполадками на своей технологической установке (ее переводили на другой режим), затеявший к тому ж ремонт квартиры своими руками, в хлопотах, где купить цветную плитку для ванной комнаты, привезут ли ему обещанную масляную краску, — ничего не замечал. Слепец!

(Так после — время пройдет — Зилара, восстанавливая события того лета, с мстительной горечью и болью скажет про Вакила: «Слепец!» Наверно, виня себя, она не могла, не осмеливалась, не хотела признать ошибку только своей...)

Потом был осенний праздник, и после обязательной торжественной части — вечеринка, на которой присутствовали лишь работники управления, да и то не все, а кто хотел. «Цеховые» же — те своими компаниями собирались. Но Вакила — даже пожелай она того — Зилара не смогла бы позвать с собой. Его в тот вечер назначили дежурить в третью смену, совсем не по графику, чтобы подменил он кого-то, не то вправду заболевшего, не то по случаю праздника отлынивающего от неудобной вахты. Вакил, как всегда, не стал вникать в подробности: пожал плечами и пошел в цех, виновато сказав ей, чтобы она хорошенько повеселилась за обоих — за себя и за него.

Лились песни с бесконечной магнитофонной ленты, пили вино, Муртаза танцевал только с ней, тесно привлекая к себе, касаясь губами ее лица, волос; Зилара смотрела на него влюбленно и благодарно, не думая, что скажут об этом другие... Он, лишь он один что-то значил для нее на этом свете! Звала его к столу, наливала искрящееся вино в бокалы, делали они по глотку — каждый из своего, а после менялись бокалами: за нас! В разгар вечеринки, он, вальсируя, увлек ее в коридор, затем в какую-то полутемную комнату, где на стулья, столы, подоконники были брошены пальто, плащи, сумки, — и дверной замок сухо защелкнулся. Она не сопротивлялась, с жертвенным сладострастием подчиняясь ему; были милы, желанны его не-

терпеливые, требовательные руки, его бессвязные, тихие слова любви — ведь она ждала этого...

Спустя день он — поджидал, видно, — остановил ее у дверей планового отдела, сказал:

— Милая, когда теперь увидимся? Только что узнал — посылают в командировку. В Ленинград. Черт бы их побрал!

— Ну-у...

— Сам не в себе. Срочно, понимаешь. Выезд — сегодня.

Нет, ей не хотелось, чтоб он именно сейчас, после той ночи, уезжал... от нее... Все в ней — душа, ум, внезапно, слепо вспыхнувшая и не знающая границ женская *ревность* — все протестовало против этого. И как же обрадовалась она, когда он сообщил:

— В Ленинграде очень сложный вопрос прожить буду. Помощь опытного экономиста потребуется... Если согласишься — поедem вместе. Устроить тебе командировку — на себя беру

Зилара, ликуя, ответила:

— А почему бы нет — поеду!

...Теперь, конечно, когда от тех событий до нынешних дней дистанция огромного размера, не один уже год прожит вместе с Муртазой — многое Зилара видит по-другому, чем виделось тогда: в ослеплении, в сумятице возбужденных чувств, мыслей, безрассудных — с точки зрения привычного благоразумия — поступков. По-иному на расстоянии высвечивается образ Вакила — не просто заботливого, покладистого, терпеливого мужа... нет-нет, все сложнее и оттого болезненнее для воспоминаний! И как-никак восемь лет была она с Вакилом, столько же,

сколько после него уже с Муртазой, — разве те годы легко с жизненного счета сбросишь?

Любила ли она Вакила?

Да. Знает твердо: любила.

Те первые восемь лет — тоже были годами любви для нее. Другой, непохожей на эту, новую, что внезапно опалила страстностью чувств, как бы разбудила в ней что-то глубоко спрятанное, до поры до времени дремавшее, — но любви! До встречи с Муртазой она подумать не могла, что кто-то — властно, непререкаемо — *отделит* ее от Вакила... Ведь живя с ним, Зилара была убеждена: если есть на свете любовь — значит, она бывает такая, как у них с Вакилом. И Риф, дорогой их сыночек, в котором оба они души не чаяли, — не живым ли подтверждением этой любви казался он?

Впервые их встреча с Вакилом произошла в коридоре Нефтяного института: она, завалившая вступительный экзамен по математике, стояла у окна и плакала, — и тут подошел он, одетый в солдатский мундир с поблескивающими на груди значками.

— Не отчаивайся, — сказал он. — Из-за каждой неудачи плакать — себя не уважать.

Она хотела было ответить резкостью — но в голосе солдата, на смуглом лице его было столько сочувствия, что Зилара сдержалась; вырвалось у нее сквозь рыдания:

— Вы-то, наверно, поступили... а я... что теперь мне делать?!

— На вечерний поступил, — подтвердил он. — Но тоже ведь не сразу... До армии пытался — срезался на сочинении! Ну и что? Тут же на завод устроился...

— Вы парень, вам легче. Завод, армия... А мне — в поселок возвращаться?

— Вы тоже, выходит, сельская? — будто б даже обрадовался солдат. — Меня Вакил зовут. А тебя?

Путаясь, он называл ее то на «вы», то на «ты»; и вскоре — здесь же, у окна — убедил окончательно, что в провалах на экзамене никакого позора нет, такое с каждым вторым случается, конкурс-то сумасшедший, а ей — он горячо советует это — надо идти на завод. С нефтезавода ведь легче, чем с любой другой работы, поступать в Нефтяной институт, и потом — на заводе она поймет: ту ли профессию себе выбирает, так ли уж обязательно ей связывать свою судьбу с нефтяной промышленностью?

— А кто меня возьмет на завод? — вытирая платочком слезы, спросила она.

— Да я ж там работаю! — воскликнул Вакил.

— А вы что — директором работаете?

Он нисколько не рассердился на ее язвительную подковырку; добродушно отшутился:

— Директором — тяжело, а я только из армии — отдохнуть хочу. Поэтому в рабочие попросился, на прежнюю должность... А завод у нас — мировой!

Он лихо выставил вперед большой палец, показывая тем самым, что это за завод — нефтяной, и такое глубокое удовлетворение сияло на его худощавом лице, таким оно было располагающе открытым, простым, — Зилара с этого момента окончательно прониклась к парню симпатией. Подумала: «На самом деле, видно, хорошо работать на заводе... когда рядом вот такие, как он, Вакил... Туда, на завод! Решено!» Спросила лишь:

— Но город же — где жить буду?

— Это, конечно, не самый легкий вопрос, — Вакил взъерошил свои короткие «армейские» волосы, такие же черные, как и брови у него, широко и густо нависшие над глазами. Засмеялся: — С голодухи сразу не сообразишь! С утра ничего не ел. Пойдем-ка в буфет, он этажом ниже... ударим по пирожкам! А сытые — думать будем.

Зилара послушно пошла с ним в буфет, а затем — на автобусную остановку, чтобы ехать за город, туда, где маячили высокие трубы и ажурные конструкции нефтезавода; и никакой боязни не было у нее перед «солдатиком», как назвала Вакила про себя: подсознательно верила, что на худое он не способен, он, наоборот, из тех, кто готов всегда помочь любому-всякому, оказавшемуся нечаянно в беде... Так она тогда думала — в свои неполные восемнадцать лет, когда сердце по-юному доверчиво и ждет от жизни только радостей. Время покажет, что ее самое первое впечатление о Вакиле было точным...

Правда, тогда же ее несколько удивило, что «солдатик» — тоже ведь совсем молодой, двадцать два — двадцать три ему — говорит... ну как бы это объяснить?.. назидательно, что ли, скучновато даже, будто все ему известно, на все готовые правила у него имеются, прямо школьный учитель — лишь успевай записывать за ним! Вот и в тот день — тряслись уже в автобусе — он убеждал:

— Кто легко всего добывается — тот ничем в жизни не дорожит. Ты, Зилара, не горюй, а радуйся, что с первого захода в институт не попала. Обстоятельства должны испытывать человека на прочность, закалять его. Честное слово! Потом поймешь... Вот поступишь на завод —

выработается вкус к самостоятельному труду, к специальности, и желание учиться в институте будет сильнее. На собственном опыте убедился. Точно!

Позже, когда поженятся, близко — в мелочах — будут знать друга друга, Зилара порой останавливала говорившего о чем-нибудь Вакила:

— Снова... Вакил?

— Не понимаю.

— Дважды два четыре, а Волга впадает в Каспийское море... Снова прописные истины — да?

— Не буду, не буду, — смущенно соглашался он. — Есть, понимаешь, слабинка... к разговорильне! Изрекать!

И, подумать, ничего особенно удручающего, тягостного для нее не было в этом, что муж иногда, повторяя его же слово, начинал «изрекать»... Исходило такое не от каких-то дурных мелочных наклонностей — а только из-за привычки Вакила искать «правду» в своих поступках, действиях! Вакил, рассуждая вслух «на высокие темы», словно бы проверял себя: не ошибаюсь ли, и если, допустим, в этой ситуации мне хорошо — не хуже ли станет другим, товарищам по цеху, например, всему заводскому коллективу? Даже редкое, пожалуй, качество характера — вот такое... Зилара, что греха таить, частенько досадовала на Вакила («О себе прежде позаботься, чем о чужом дяде!..»), однако втайне ощущала что-то похожее на гордость: ну-ка — кто скажет о ее муже что-нибудь плохое?

Но всему такому быть позже, значительно позже... Пока же парень по имени Вакил, одетый в зеленую солдатскую форму, вел Зилару

на завод. Не зная толком, кто она, не предугадывая, конечно, что будет впереди, — он по существу взялся устроить ее судьбу...

Громадина завод, строго взметнувший ввысь замысловатые корпуса установок, опоясанные серебристыми трубами, поразил Зилару своим величием; она робко подумала, что для работы тут надо быть очень умной, подготовленной, бесстрашной даже, — и вряд ли что получится у нее, выросшей на спокойной, пыльной улице поселка, а можно сказать, деревни, где лопухи под окнами, козы да телята на выгоне...

У Вакила даже мундир на спине взмок — столько в тот день пришлось ему побегать-поволноваться из-за нее... В отделе кадров невзрачный, крикливый человечек даже слушать их не захотел: из села да без специальности — нет-нет, ни за что не примем! У Зилары, когда выскочила за дверь, опять слезы из глаз брызнули; сказала она Вакилу: «Спасибо, но не хочу... чтоб вот так... водили вы меня по разным людям!» Он стал звонить начальнику цеха, потом, забрав у нее документы, помчался в комитет комсомола, а оттуда в партбюро, еще куда-то — и, в общем к вечеру его стараниями стала она «заводчанкой»! Приняли на должность табельщицы, дали место в общежитии... успехов и счастья тебе, девушка! Завод — твой!

Вот такой — навсегда памятной — была ее самая первая встреча с Вакилом.

Через два года она вышла за него замуж.

Он говорил ей с наивной откровенностью:

— Понимаешь, сижу на своей установке, и представляю вдруг, что ты тоже здесь, на заводе, где-то рядом, — вроде б от этой мысли сра-

зу солнечным светом умоюсь! Как это повезло мне — встретил тебя?

И удивленно разглядывал ее, будто впервые — только сегодня — случай их свел. Зилара знала за ним такое: удивляться тому, что видел и слышал множество раз, к чему, наверно, следовало бы привыкнуть... Знала — и, признаться, нравилось ей это. Муж не устает тобой любоваться — плохо ли? У многих еще — укажите их! — так?

А ее диплом о высшем образовании, какая «цена» у него — забудешь разве?!

У них родился Риф... радость безмерная, счастье и — неведомые раньше хлопоты, огромная дополнительная нагрузка. Ведь оба работали и одновременно учились в институте на вечернем отделении, а возле — никого из близких, кто бы мог помочь, побыть с малышом, присмотреть за ним, когда они на лекциях или готовятся к экзаменам. Что-то требовалось предпринимать. И Вакил сказал ей:

— Хорошо... Я — мужчина. Нам, мужчинам, никогда не поздно учиться. А тебе надо обязательно закончить институт сейчас. Осталось всего каких-то три года... Поэтому сделаем так: ты переводишься на дневное отделение, а я временно прерву свою учебу... пока не закончишь ее ты.

— И обходиться одной твоей зарплатой? — попробовала было возражать она.

— Ничего, не такая уж маленькая зарплата! — И повторил: — Ведь всего каких-то три года...

Она стала инженером, а Вакил ко времени их разрыва так и не успел защитить диплома:

подзатянулось его институтское ученье (он числился уже на заочном).

Слов нет, до встречи с Муртазой Зилара не могла припомнить каких-либо существенных размолвок в их — с Вакилом — семейных отношениях; таких, что отдаляли бы ее от него. Кое-что, разумеется, раздражало Зилару: например, что Вакил словно б прилип к своей технологической установке — не оторвать было его от этой работы, не стремился поменять ее, как делали другие студенты вечерники и заочники; и то еще, что дорогое для институтских занятий время бездумно тратил на всякие необязательные общественные нагрузки: куда только его не избирали, кем не назначали — по профсоюзной линии, в ДОСААФе, во всевозможных секциях, — и он безропотно тянул этот воз!

Конечно же, и внешне — сутуловатый, в неизменной старенькой спецовке, с серым, усталым лицом хронически не высыпающегося человека, — никак не мог Вакил сравниться с Муртазой Бикташевым!

У Муртазы — чистое загорелое лицо, оттеняемое белизной сорочки, подогнанные по фигуре костюмы, точные, без суетливости жесты и такие же точные, к месту слова уверенного в себе человека, у которого, видно по всему, завидное будущее. И, что там ни говори, вот это — *внешнее* — поначалу привлекло внимание Зилары к нему, Муртазе, а первое жгучее любопытство («Это что — идеал мужчины?!») было той маленькой, но живучей искоркой, которая незаметно и стремительно распалила безрассудный костер. При сближении с Муртазой ее сознание словно бы обрело какое-то совсем иное видение и чувство: все, что до этого было в жизни, вдруг показалось таким скучным,

затянувшимся, не обещающим впереди приятных неожиданностей, — стало жалко себя... Вакил находился рядом — но что из этого? Что нового завтра, послезавтра, через год, еще позже он даст ей?!

Так — в каком-то лихорадочном, нездоровом волнении обращая свой взгляд к Муртазе Бикташеву — думала она тогда. И это было как наваждение... Сердце Зилары, будто что-то чужеродное, мешающее ей, нетерпеливо отторгло все, что связывало ее с Вакилом: скорее освободиться, скорее!

Ну — не наваждение ли?

А после поездки в Ленинград вообще уже невозможно было представить прежнюю, привычную — с Вакилом — жизнь. Он стал ей чужим.

Эта поездка решила все.

Как только Муртаза позвонил ей: «Приказ подписан — живо оформляй командировку!» — Зилара поняла: вот теперь-то она окончательно за той *чертой*, перед которой топталась, которую еще боялась переступить. Риф был в школе, Вакил на работе, и она оставила на столе торопливую записку: «Срочно уехала в командировку на неделю или больше. Присмотри за сыном. Зилара». Никаких других слов для мужа не нашлось, и было все равно, что он подумает. Хоть до отхода поезда оставалось много времени — поймала такси, то и дело подгоняла шофера: «Быстрее, опоздаю!»

Бежала? От чего, кого... к чему, кому? Бежала!

И что бы ни было у них потом с Муртазой — ту ленинградскую поездку ей тоже не забыть, она тоже один из праздников в прожитых ею годах.

Обо всем позаботился Муртаза! Купе на

двоих; в желтом африканском чемодане из крокодиловой кожи — целый буфет уместился: бутылки с коньяком и шампанским, фрукты, копчености, конфеты; и мощный дорожный приемник был поставлен на столик: на ходу поезда чисто ловил далекие радиостанции с развлекательными музыкальными программами... Зилара, увидев все это, пораженно руками развела, и стало совестно за те жалкие бутерброды и яблоки, что, собираясь, второпях затолкала в свою сумку. Муртазе, видимо, польстило ее удивление; покровительственно и со значением произнес он:

— Ах, ты, наверно, совсем не знаешь еще, что это за прелесть может быть — вагонное путешествие вдвоем! — Задвинул дверь: — Иди ко мне...

В Ленинграде удалось устроиться в одной из лучших гостиниц — в смежных номерах; и как уж сумел сделать Муртаза, она не знает, — но не больше двух дней ушло у них на командировочные занятия в проектно-конструкторских организациях, все остальное время они с неиссякавшей жадностью, горячностью, без усталости отдавали друг другу... Выходили из гостиничного подъезда — и прекрасный город устремлялся им навстречу своими широкими проспектами, гранитными набережными, волшебными мостами, сиявшими в огнях залами ресторанов, кинотеатров, музеев: вы любите — будьте счастливы! И она была, как никогда, счастлива. Неясный, досадливый протест возникал в душе при случайных воспоминаниях о доме, о Вакиле, о том, что скоро, совсем скоро возвращаться в Уфу!

Странно, за ту неделю в Ленинграде она — женщина, в общем-то, с определенным житейским опытом, неплохо, как ей самой казалось,

разбиравшаяся в людях,—почему-то сразу, безо всяких сомнений свыклась с мыслью: и дальше все у них с Муртазой будет таким же бесконечным, веселым и красивым, как в этой восхитительной поездке... Скучный быт и Муртаза — понятия несовместимые!

Шила в мешке, говорят, не утаишь.

А тут и вовсе — на виду всего завода...

Зилара знала: когда они с Муртазой в поезд еще не сели, она только командировочные в кассе получала — по отделам управления, выплескиваясь в цеха, уже зашелестели разговоры... Вдвоем! В Ленинград! С тем самым, мол, инженером, который в последнее время ходит за ней тенью... Куда только муж смотрит?!

Не сомневалась она, что как бы ни был доверчив и «близорук» Вакил — и он поймет... Догадается, поймет! Эта ее записка, оставленная второпях, — холодная, не в духе их прежних отношений... А то, что она перестала заходить к Вакилу в цех, не звонила ему туда, как прежде, а если звонил он — отвечала односложно, таким тоном, будто одолжение делая?.. А чужие языки? Намеками да насмешками, а то и прямо ему в лицо... Скужат! Донесут!

«Пусть, пусть, пусть...» — стучали вагонные колеса.

И — ласковые руки Муртазы, его успокаивающие слова...

«Пусть-пусть... пусть-пусть!..»

От чего только сжималось сердце — это когда про Рифа думала... Как ему, сыночку, объяснить?! Такой он ведь впечатлительный, такой хрупкий, слабенький... И отца — не отнимешь — любит. Привязан к отцу. Пожалуй, она сама не

отдает Рифу столько сил и времени, сколько он, Вакил... Мальчик предан отцу.

А поезд летел вперед, отбрасывая огни встречных станций, торопясь *туда, туда, туда...*

И хоть купе на этот раз было четырехместным, они опять ехали вдвоем: Муртаза договорился с проводником — тот не «подселял» к ним других пассажиров.

Утомленный, спал Муртаза на ее руке, и она с тревожным любопытством и тихой радостью всматривалась в его лицо, которое было теперь дорогим ей, в котором она сейчас бессознательно, успокаивая себя, как бы пытаться отыскать ответ на мучительный вопрос: а ты будешь любить моего Рифа, ты же знаешь, что у меня есть сын?.. будешь любить?

Когда Зилара переступила порог квартиры — Риф находился в школе, а у открывшего дверь Вакила были потухшие, глубоко запавшие глаза. Не наклонился, чтобы поцеловать ее, и она не поцеловала его, как бывало раньше при встречах после коротких расставаний. «Известно... все ему известно! Тем лучше...»

— Как вы тут... без меня?

— Нормально, — помедлив, ответил Вакил и пристально посмотрел на нее. Зилара многое прочитала в этом его затяжном взгляде. И кроме всего другого — надежда была в нем: а может, мы оба ошибаемся — ничего не случилось и ничего не могло случиться? Спросил глухо: — Как съездила?

— Тоже нормально...

— Только и всего?

— Ленинград — чудесный город...

— Весело было?

— Как тебе объяснить... А почему, собственно, я должна была скучать?

— Еще бы! — вырвалось у Вакила. — Когда рядом такой спутник!

— Ну и что? — Зилара все же никак не могла решиться на последние — жесткие и прямые — слова; не думала она, что произнести их — испытание тяжелое; и — было жалко Вакила, было жалко его, жалко! Стараясь оттянуть неизбежную развязку, повторила: — Ну и что? По-твоему, если посылают в служебную командировку...

Он не дослушал:

— А по-твоему — как? По-твоему, зря болтают?

Вытащил из кармана пачку папирос, дрожащими пальцами чиркал спичкой по коробку, неумело затягивался дымом...

— Ты начал курить? — обронила она. — Тебе не идет...

Он пропустил ее слова мимо ушей.

Молчали они — Вакил, сидя с опущенной головой у стола; она — перед ним, стоя, опираясь ладонями о спинку стула. «Заботливый, — снова с жалостью и одновременно уже знакомым глухим раздражением подумала про него. — Квартира блесит: вымыл, пропылесосил... лапшу, конечно, сварил!».

Молчание становилось невыносимым.

— Зилара?..

— Да?

— Зилара... тебя действительно можно поздравить? — спросил с горькой усмешкой.

— С чем? — А у самой, почувствовала, кровь прилила к щекам.

— О чем все говорят...

— О чем же, позволь узнать, все говорят?

— Дыма без огня не бывает, — сказал Вакил. — Если замужняя женщина дает повод склонять свое имя... становится предметом пересудов... значит...

— Что «значит»? — крикнула она.

— Плохо, значит, ведет она себя. Недостойно. Вот!

— Та-ак... Что еще? Будешь напоследок учить меня, наставлять? — Зилара уже, сама того еще не сознавая, шла в наступление. — С чем же хотел поздравить меня? С тем, что... что я... веду себя... как это?.. недостойно!

— С новым мужем, — выдавил из себя Вакил и отвернулся от нее.

Эта фраза, наверно, стоила ему огромного напряжения душевных сил, когда они, кажется, вообще были у него на исходе. Густая испарина покрывала его лоб; плечи были безвольно опущены... «А Муртаза — мог бы он таким быть? — пронеслось в ее сознании. — Нет-нет, уж он-то мужчина...» И это мимолетное — но так кстати, вовремя пришедшее сравнение (Вакил и Муртаза!) — приободрило Зилару; Муртаза — невидимый, но ощущаемый ею — словно бы встал рядом; она теперь говорила Вакилу твердо, даже с какой-то гордостью, будто бы ее слова мог сейчас слышать и похвалить потом за них Муртаза:

— Правильно, Вакил... Я полюбила другого. Я люблю его, и ничего уже не изменить. Пойми меня, Вакил, и, если можно, прости. Когда бы не любовь — разве бы...

— Любовь, — скривилось лицо у Вакила; он подошел к окну, незряче смотрел вниз, на тротуар. — Все прикроет, когда нужно, это самое словечко — любовь!

— Не смей кричать... Вакил?!

— Не буду. А что у нас... у нас с тобой что было?

— Что было—было. Не надо... Мне ведь тоже тяжело, Вакил...

— Неужели? — Он усмехнулся.

И снова молчание. Что еще могли они сказать друг другу? Что изменило б сказанное?

Разрыв. И она желала его. Торопилась.

Что хорошо запомнилось ей из подробностей того дня — это как Вакил попросил ее:

— Ты сразу отняла у меня полжизни — не бери всю. Я говорю о сыне. Оставь его со мной.

— Нет.

— Оставь...

— Все, что угодно, только не это!

— Он будет вам мешать. Я сам вырос с отчимом... поверь мне. Пусть Риф будет со мной.

— Нет, со мной... с матерью! И закон, помни, на моей стороне!

Почему тогда она так яростно упорствовала?

Но разве в тот момент могла Зилара представить, что так пойдет ее новая жизнь, так будут складываться обстоятельства, что сама—*сама!*—отдалит она сына, окажется он в конце концов где-то на обочине ее дел и забот? Предугадай кто-нибудь такое, скажи об этом — не поверила б, в лицо б тому человеку плюнула... Я—и без Рифа, без своей кровиночки? Да вы что, с ума сошли?! Никогда не быть такому!

Однако, припомнить если, Вакил как раз и предугадал... Он с мукой в голосе сказал тем печальным днем:

— Ты ведь, оказывается, какая? Податливая. Поманили тебя—пошла... Ты сломаешь судьбу нашему сыну...

Как кричала она на него — после этих слов! Это ты, кричала, безвольный, бесхребетный, не мужчина — тряпка, и кому не лень — все из тебя веревки выют... И тебе — *такому* — сына?! Опомнись!

Собственный крик долго потом стоял в ушах; и долго — годы спустя — внутренне краснела Зилара, когда вспоминала про это... Не были справедливыми и необходимыми те ее фразы—обвинения, не имела она никакого права на них. Распалаясь, безжалостно казнила тогда Вакила, унижала... За что? Искала вину на нем, ту вину, которую породила сама? Со своих плеч — на его плечи?..

Вакил, как был в костюме, не набросив плаща, вышел за дверь.

А поздним вечером привели Вакила знакомые — бесчувственно пьяного, в одежде, вымазанной известкой и пылью. Он смеялся и плакал, бормотал бессвязное, грозил пальцем...

Риф, который никогда до этого не видел отца пьяным, смотрел на него, зибившись в угол, со страхом, болью и удивлением... Позже он как-то скажет ей:

— Папа ушел от нас, потому что ты не простила ему, что он тогда напился, — правда?

Увидев слезы на ее глазах, добавит, осуждая своим детским сердчишком и тут же по-сыновьи жалея:

— Он не как другие, всего один раз напился... А ты — сразу выгонять!.. Ну не плачь, не плачь, мамочка... Может, он вернется к нам?

К этому времени Зилара уже не знала, где он, ее первый муж, — уволившись с завода, Вакил уехал из Уфы. Месяца через два-три поступил сторублевый перевод на ее имя — с короткой припиской: «Деньги на воспитание сы-

на». По совету Муртазы Зилара вернула этот перевод по обратному адресу, приписав ниже слов Вакила свои: «Если не можешь без этого — посылай в поселок на мою мать. А лучше не надо. Мальчик ни в чем не нуждается».

Хоть не регулярно, иной раз с перерывом в полгода и больше, переводы от Вакила продолжали поступать — но теперь уже, как было указано ему, на имя Файрузы-эби. Зилара, случилось, тайком от Муртазы разглядывала штемпели на переводных бланках. По ним, постоянно меняющимся, можно было предположить, что Вакил ведет жизнь кочевую, долго на одном месте не бывает — устроился, скорее всего, в какую-то экспедицию, которая ведет разведку нефтеносных пластов на сибирских просторах.

Первая встреча Зилары со следователем, вторая, третья... Риф содержался в камере, она его не видела, и все дни сливались у нее в один — нескончаемый, тягостный, заполненный терзающими материнское сердце вопросами: отчего так произошло, где истоки внезапно настигшей семью беды, насколько она сама виновата перед сыном, людьми, обществом, совестью своей, наконец? Следователь Бану Махмутовна исподволь, но настойчиво разматывала клубочек прожитых лет, и Зилара чувствовала: эта пожилая, внимательная и рассудительная женщина видит, что Риф по складу своего характера не способен на гнусное преступление, он оказался вовлеченным в него, не осознавая до поры до времени, что творилось вокруг, кому он доверился, с кем связался. А почувствовав, что Бану Махмутовна действительно не враг ее

сыну, наоборот, старается понять, почему мальчик попал в несчастье,—Зилара уже не таилась перед следователем и, не имея никого другого рядом, кому бы могла излить душу, открывалась ей, Бану Махмутовне... Та, выслушав рассказ Зилары, заметила со вздохом:

— Что ж, увлеклись тогда... не первая и не последняя вы. Печально только, что эти увлечения взрослых так порой жестоко, трагически отражаются на детях. Примеров — не счесть! Особенно при нашей работе видишь...—Помедлив, спросила: — А как, Зилара Фатиховна, счастливы вы со вторым мужем?

— Мы хорошо живем, — поспешно ответила Зилара.

— А какие все ж отношения между ним и пасынком? Как у них с Рифом складывалось все?

Зилара наклонила голову — отвечать было трудно; однако призналась:

— Можно считать, отношения не сложились. Вернее, никаких отношений не было...

— Как же это так?

— На первых порах Муртаза хотел... да-да! Но, знаете, Риф... я объясняла вам уже... мальчик с очень чувствительной психикой, не такой, возможно, как большинство его ровесников...

— Он, короче, не принял вашего нового мужа, как хотелось бы тому, как лично вам хотелось бы... правильно я понимаю?

— Да, — прошептала Зилара.

Живо увидела Зилара в эти минуты вопрошающие, заплаканные глаза того еще — маленького, восьми лет,—Рифа, и голос его услышала: «Где папочка? Где мой папа?» Они тогда обменяли две квартиры—ее и Муртазы — на одну трехкомнатную, в центре города, и в первый

день, когда вселились туда, Зилара сказала Рифу: «Ты должен понять, сынок. Твой отец навсегда уехал от нас. Теперь вот кто будет тебе другом и отцом... Люби его, пожалуйста, как меня!» И подвела Рифа к Муртазе, попыталась вложить дрожавшие пальчики сына в большую ладонь Муртазы... «Не-ет, — страшно побелев, закричал Риф, — не-е-ет!» Упал на пол, бился в судорогах, они с Муртазой перепугались, не знали, как унять внезапный истеричный припадок у мальчика, — Муртаза вызвал по телефону «скорую»...

После того дня, с неделю отлежав в постели, Риф отворачивался или убегал, если Муртаза подходил к нему и пытался заговорить с ним. Часто плакал, смотрел в окно... Однажды не пришел из школы, она чуть с ума не сошла, чего только не передумала, пока искала его. А нашла в прежнем их доме: сидел он на лестничной площадке, перед дверью недавно принадлежавшей им квартиры. Ждал отца! Вдруг тот откуда-нибудь появится...

Муртаза как-то недовольно проронил: «Ты видишь: я, взрослый человек, всячески перед ним, чтоб подружиться... а он волчонком смотрит! Вот-вот укусит...»

И стоило Рифу нечаянно увидеть, что она очень уж ласкова с Муртазой — поцеловала ли того, прижалась ли мимолетно, провожая на улицу, — мальчик, всхлипывая, убегал в другую комнату, кричал ей, когда она пыталась обнять его: «Ты плохая... уйди, уйди!»

А должны были быть такие радостные, такие неповторимые дни: Муртаза и она... их любовь... они вместе... Она в ту пору верила и не верила — неужели на самом деле сбылось: он, Муртаза, еще вчера такой недосягаемый, зага-

дочный, теперь навсегда с ней?! Голова шла кругом...

И Риф...

Его не по-детски угрюмый взгляд, его нервозность, отчужденность.

С того дня, как ушел Вакил, Риф ни разу не сел за пианино, не напевал, как прежде, любимых мелодий, перестал ходить в детскую музыкальную студию при заводском Доме культуры. И Зилара боялась сказать что-либо ему: ведь раньше, когда сын усаживался за пианино, возле тихонечко устраивался Вакил — слушал, переворачивал нотные страницы; и в студию Рифа водил он, Вакил, — провожал и встречал. Зилара думала: может, лучше это — что мальчик отошел от музыки; на время, конечно, отошел — отца будет меньше вспоминать, и нагрузки на возбужденный событиями детский организм меньше. Ведь то и дело — слезы, слезы!

Она побывала с Рифом у профессора, что когда-то наблюдал за лечением сына в больнице после их уральского путешествия — так весело проходившего и так драматично закончившегося... Профессор часа два обследовал Рифа, долго разговаривал с ней без сына и с сыном без нее; она, краснея, мучаясь внутренне, вкратце рассказала ему про изменения в их семейной жизни, призналась, что замечает: это в какой-то степени повлияло на мальчика... «Не в какой-то, а в самой прямой! — прервал ее профессор. — Вы простите меня, старика, за прямоту, но позволю заметить: погнавшись за жар-птицей — птенчика своего придавили... н-да... Спасенье ему — вдали от вашего счастья. Лечат покой и время!»

Тогда-то и было решено: Рифа — к бабушке! Дом у нее большой, школа там есть, и все по-

селковые прелести в придачу: речка, лес, сад, чистый воздух, спокойная обстановка... Ворчливая, правда, бабушка, строгая, но ведь внук—не станет обижать! Других-то внуков у нее нет, и сама одна-одинешенька... Поживут вдвоем, а как после — видно будет...

И Зилара с Муртазой свободно вздохнули.

Перед собой не слушаешь: было оно — чувство облегчения... Отправляла сына в поселок — о нем ли прежде всего заботилась? Так всевластно овладел ее сердцем Муртаза, так заслонил он собой в тот год все остальное: боялась, что Риф, особенно на первых порах, станет помехой в ее — с Муртазой — жизни. Муртаза одарил ее любовью, и она — считала — должна была ответно дать ему любовь безграничную, сильную, удивительную, чтобы никакое пятнышко, никакая случайная тень минувшего, прошлого, из той, прежней жизни не омрачила их отношений.

Что-то стремясь спасти, утвердить — чем-то другим жертвовала...

Чем?

Пришел суровый срок ответа...

— Зилара Фатиховна, — спрашивает ее Бану Махмутовна, — часто видели вы сына, когда он стал жить у бабушки?

— Не скрою — наездами. Теперь-то понимаю... Но надеялась: ему там лучше, чем с нами. Видела ж: не принял и никогда не примет он мужа... Приезжали когда вместе в поселок, когда, в общем, не одна я приезжала... он чаще всего убегал. Повзрослев—дерзил мужу. Или молчал, слова не вытянешь... И мы все реже и реже стали наведываться туда.

— А сам он приезжал к вам в город?

— Иногда.

— Деньги давали ему?

— Давала.

— Зачем?

— Мать. Жалела.

Зилара смахнула слезинку.

— Вы говорите, что ваш сын очень нервный...

— Да. До вспыльчивости, до того, что если, не дай бог, обиделся — уже не в себе, не знаешь, как подойти к нему, как успокоить... А почему вы так настойчиво спрашиваете об этом? Что-нибудь...

— Видите ли, Зилара Фатиховна, мы вынуждены были направить вашего сына на психиатрическую экспертизу. Неуравновешенный — это одно... Не спит он. Странно отвечает... Кошмарные видения... Нездоров он, Зилара Фатиховна. Очень!

— Что же это, что? — прижимала Зилара похолодевшие пальцы к щекам. В словах следователя слышалось ей нечто более страшное, чем само участие сына в совершенном злодеянии...

Позже будут у Зилары дни, когда она в горестной отрешенности станет снова и снова перебирать памятные моменты из жизни — все, что связывалось с именем Рифа... Придет в кабинет к Бану Махмутовне — и та, чужой, посторонний, казалось бы, человек, по горло занятый делами, следователь милиции, вдруг расскажет ей о сыне много такого, о чем она, мать, не знала. Бану Махмутовна, побывавшая в поселке, поговорившая с десятками людей, знавших Рифа и всю компанию подростков, в которой он оказался, — выяснит неизмеримо больше того, что могло втиснуться в рамки протоколов

дознания, что требовалось для судебного разбирательства.

И Файруза-эби в порыве отчаянья будет плакать, дергать себя за седые волосы, крича, что нет ей прощенья: она надеялась, что строгостью сделает из внука-безотцовщины человека, а получилось, что ее суровая строгость и придирчивость оттолкнули мальчика от последнего родного прибежища...

Зилара, не дослушав громких причитаний матери, тихо выйдет из ее дома, не зная, когда теперь снова хватит у нее сил переступить отчий порог...

Долгими ночами, бессонно вглядываясь в темноту, она будет видеть своего Рифа — там, на улицах поселка, здесь, на городских тротуарах... Одинокую, нахохленную фигуру парнишки, не ведающего в своей неприкаянности, в своем одиночестве, куда ему идти... Где та крыша, под которой он должен быть? Где тот очаг, что согреет его?

А то, что было услышано о Рифе от других, о чем теперь узнала, что могла зрительно представить, увидеть так, словно на большом экране, — жило в ней, обрастая подробностями, не отпуская от себя.

Что же видела она?

...Первое лето Риф у бабушки. Его только что привезли сюда. И какой сказочный простор тут же открылся детскому взору, сколько неожиданных впечатлений! На лужайке привязан белолобый теленок, у крыльца разгребают мусор куры, за огородами тарахтит трактор. Поселковые ребятишки — такого же примерно возраста, как он, Риф, — манят его: выходи из калитки на дорогу! У них любопытство к нему, «городскому», у него — к ним... И, познакомив-

шись, веселой ватагой мчатся к речке, оттуда в недалний лесок.

Домой Риф прибегает, когда солнце, сделавшись красным, опустилось на верхушки высоких деревьев.

— Я тебе цветов нарвал, бабуля! — кричит Риф. — В лесу!

Прищурены старческие глаза, холод в них.

— Цветочки? А без спроса убежать, неизвестно где с распоследней уличной шпаной шляться — этому тебя в городе учили? Бессовестный!

И — букетом синих привядших колокольчиков по щекам, по лицу... Цветы летят в распахнутое окно. Скрипуч, непримирим голос бабушки:

— Не реви. Запомни — сразу и навсегда. Без спроса — ни шагу. Ни один ребенок, росший в моих руках, в том числе твоя мать, не были беспризорными обормотами. Слушались во всем меня, помогали, как умели. Чужие люди доверяли мне воспитание своих детей. Все довольны остались... И тебе говорю: не вздумай своевольничать, не заставляй меня волноваться, потому что я женщина в годах, больная, повышенное давление у меня... понял? То-то ж! А уж коли в лесу оказался — не цветочки надо было собирать, а ягоды. Цветочки что? Тьфу! Трава. Из ягод же варенье б сварили. Сейчас все люди по ягоды ходят... Вытри слезы и садись ужинать. Что наказала — обижаться не должен. Я твоя бабушка, обязана тебя учить, если больше некому этим заняться. Добра тебе желаю!

...Риф теперь постоянно живет у бабушки и боится ее, как огня. Он похож на запуганного зверька — напряжен, настороже, весь в себе. «Я

не нужен ни матери, ни отцу... Бабушке я тоже не нужен... Кому ж я тогда нужен?!»

— Ты что это развалился на кровати? Барин какой, посмотрите на него! — кричит Файруза-эби. — Иди-ка снег от калитки расчисти!

Бросает в спину:

— Навязали дармоеда... В гроб загонит.

Глотая слезы, десятилетний Риф раскидывает снег. Разрастается в нем приутихшая было обида, зародившаяся еще в школе — утром. Там, в школе, учительница при всем классе выговаривала ему:

— О чем ты только думаешь на уроках, Буляков? Считала я, что из города — хорошо учиться будешь. А ты ворон ловишь! Был бы прилежным, умным мальчиком, не отправила б мать тебя сюда, в деревню!

...Тринадцатилетний Риф смотрит на нее, мать; он, Зилара понимает, хочет что-то сказать ей, но так и не решается. Она спешит: вырвалась в поселок на несколько часов, не успела приехать — надо уезжать, обещала Муртазе, что до вечера вполне обернется, в театр не опоздают... Файруза-эби жалуется: Риф плохо учится, плохо помогает, таким же, наверно, был его отец в юности, вообще в жизни, потому и не смог, беспутный, сохранить семью...

— Не надо, мама, так говорить, — просит она. — Отец Рифа — человек во всем добросовестный и честный.

Замечает: каким благодарным, радостным огнем полыхнули глаза сына!

Она гладит его по выющим волосам, целует украдкой от Файрузы-эби. Отстраняясь, Риф опять недоступно замкнут и молчалив. При прощании несмело спрашивает: не купит ли она ему в городе гитару?

— Тебя снова к музыке потянуло? — Ей радостно от этого, и на сердце сразу легче: вот, оказывается, чем можно доставить сыну удовольствие. Обещает: — Обязательно достану.

Файруза-эби ворчит:

— Будет с этой гитарой по улице шлаться. И так домой не загонишь! Лучше ботинки ему на эти деньги купи...

— И ботинки куплю, и гитару.

В следующий свой приезд в поселок привозит гитару — пятьдесят рублей за нее заплатила, «Орфей» называется.

А когда через год Рифа оставили на второй год в седьмом классе, Файруза-эби с досадой выговаривала ей, Зиларе:

— Вот твоя гитара! В обнимку с ней спит... Это ты не купила ему — это ты гитарой откупилась от него!

За вечерним чаем — уже в своей городской квартире — она несмело говорит Муртазе:

— Беспокоит меня Риф. Переходной возраст, трудный... Как ты смотришь — сюда, к нам, если возьмем его?

Муртаза, пожав плечами, нехотя произносит:

— Я тебе не могу ответить ни «да», ни «нет».

— Не понимаю...

— Сказать «нет» — обидеть тебя. Твой сын, а я, получится, как бы против... А я не против! И в то же время твердо убежден: меня он ненавидит. Я не вправе его осуждать, однако... Однако вместе под одной крышей? Выйдет ли что из этого? Решай сама!

В поселке сколотилась шумная компания подростков — от четырнадцати до семнадцати лет. И хоть Риф не был похож на остальных —

тихий, молчаливый, боялся драк, — его приняли как своего. За умение играть на гитаре.

— Артист! — восхищенно прищелкивал пальцами Фарит, признанный заводила компании. — А ну-ка, Рифчик, вот эту песенку сбадай...

Предупреждал:

— Кто Артиста хоть мизинцем тронет — по уши того в землю вобью!

Все вместе на пригородном поезде — без билетов, конечно, — ездили в Уфу. Развлекаться.

Зилара помнит: возвращается откуда-нибудь домой — из-за деревьев, по-вечернему затененных, выходит навстречу Риф.

— Ты... сыночек?!

— Я с ребятами тут...

— С какими ребятами?

— Ну это... экскурсия у нас. Всем классом. В музее были.

(Или что-нибудь другое говорил — в таком же духе...)

— Пошли в дом.

— Нет... времени уже в обрез. Ребята на автобусной остановке заждались теперь. Бежать надо. Дай, пожалуйста, рубля три...

Она доставала из сумочки всегда больше, чем он просил: пятерку, десятку...

— Все у тебя, как надо? С бабушкой ладишь?

— Стараюсь.

— Будь умницей, сынок. Дай поцелую тебя...

— Пока!

Смотрела ему вслед: вырос... когда успел?!

На сигареты для всей развеселой компании, на дешевое плодово-ягодное вино, которое они пили нередко прямо в тамбуре вагона, — уходили ее щедрые рубли...

Когда Риф вот в такие летние дни с утра до позднего вечера пропадал с дружками на улице или уезжал с ними в город, он, переступая порог дома, неизменно говорил Файрузе-эби:

— Снова в Уфе у матери был...

И чтобы не слушать бабушкиных проклятий — тут же иной раз голодным, бросался в постель, натягивал одеяло на голову.

В августе Зилара и Муртаза на собственной «Волге» отправились в далекое путешествие — на Черноморское побережье. Отпуск удалось получить внезапно, когда никакой надежды на это не было, — поэтому в путь тронулись быстро и безо всякой предварительной подготовки: каждый отпускной день был на счету, хотелось как можно скорее добраться до лазурного моря... О том, что они в отъезде, Зилара сообщила матери в поселок открыткой уже из Сочи.

Открытку почтальон принес в полдень, а к ночи вернулся откуда-то Риф и сказал, как бывало всегда в таких случаях:

— К матери ездил.

Файруза-эби, склонившись над столом, раскатывала тесто; спросила она:

— Не часто ль, негодник, катаешься к матери?

— Каникулы ж. Когда школа — не очень-то...

— Что нового у матери, как живут они там?

— А чего — по-старому... Привет передавали.

— Чем покормили тебя?

— Яичницей... мясо еще... чай с медом...

— Сыт, значит?

— Сыт.

— Но я тебе добавлю! — И Файруза-эби, размахнувшись, ударила Рифа по спине скалкой; закричала: — Сколько, щенок, мне терпеть

твои выходки? Тебя бросил отец, тебя бросила мать, растешь бандитом... Пошел вон, обманщик! Во-о-он, говорю тебе, стервец!

И норовила снова попасть скалкой по спине...

— Неблагодарный... лживое семя!

Риф, сорвав со стены гитару, выскочил за дверь.

В ночной тиши вслед ему неся истошный старческий голос:

— Подкидыш... навязали на мою седую голову... чтоб тебя!..

Он пришел на станцию, тихонечко забрался в вагон поезда и поехал в Уфу. Сдерживая набегавшие слезы, говорил себе, что больше никогда не вернется в поселок... никогда, ни за что!

В зале ожидания уфимского вокзала, где он бесцельно, не зная, куда идти, что делать, присел на скамью, — к нему подошел парень в морской форме, сказал, кивнув на гитару:

— Классная вещь. Не продашь?

— Продать? — И решение пришло мгновенно. — Можно.

— Сколько просишь?

— Семьдесят.

Морячок потренировал на струнах, придиричиво осмотрел инструмент со всех сторон — и выложил требуемую сумму. Новенькими хрустящими червонцами.

Риф даже пожалел: надо было запросить восемьдесят... Ну ничего: на первый случай деньги теперь есть, а с деньгами не пропадешь...

Так для него начались недолгие дни бродяжничества.

Ночевал где придется; слонялся по улицам, заглядывая в скверы, столовые, кафе, кинотеатры — и смотрел, смотрел на лица встречающих

мужчин. Наивная надежда теплилась в его груди: а что — своего отца найду?! Годы уже стерли в памяти Рифа черты отцовского облика, но все равно, он, хоть смутно, помнил его; а больше помнил — что был отец ласковым к нему, им вместе было хорошо и весело. Отец почему-то ушел от них... Ушел, конечно, из-за этого... Муртазы Бикташева! И ушел ли отец? Возможно, что наглый, бессовестный Муртаза прогнал его! Выжил. Но при чем тут он, Риф? Почему, отец, скрывшись, забыл про него?

Рифу смутно вспоминалась сцена из тех, далеких дней: отец, пьяный, сидит на корточках у двери, смеется и плачет, грозит непослушным пальцем... Он позже, уже в четвертом или в пятом классе учился, спросил у матери: часто ль такое бывало? «Забудь, — сказала мать. — Твой отец не пил, а если случилось один раз... с кем не бывает? От горя он тогда... Ты забудь!»

Но все же сейчас Риф внимательно вглядывался в пьяных, когда попадались они, — а вдруг?! Может, с того горя отец как запил, так и не остановится до сих пор...

И всякий раз, провожая взглядом подвыпившего мужчину, Риф почему-то с облегчением вздыхал: нет, не отец!

Представлялось ему, что не сегодня, так завтра отец вынырнет из городского многолюдья, крепко сожмет ему руку, произнесет с улыбкой: «Хватит, сын, пожили врозь — пора вместе быть! Пойдем-ка домой!»

В прохладные ночи конца августа эта надежда — на встречу с отцом — грела и, главное, наполняла хоть каким-то смыслом его бесцельное шатание по городу... Курил сигареты, несколько раз покупал яблочное вино — запивал

им купленные тут же пряники и конфеты «по-душечки». Иногда часами простаивал под окнами материнского дома, не понимая, почему они наглухо зашторены, по вечерам не озаряются светом. Уехала куда-то... с ним, с отчимом? Надолго ли?

Однажды окна засветились; там, в комнатах, мелькали призрачные тени; радужные блики ложились на стекла — от включенного цветного телевизора. Риф, в кармане которого от недавних червонцев оставалась какая-то жалкая мелочь, — невольно сглотнул ком в горле; подумалось ему: как сейчас уютно, тепло за теми шторами, пахнет мясным супом, круто заваренным горячим чаем, в ванной — только включи — мягко, обволакивая тело ласковой нагретой водой, зашумит душ... Может, подняться, нажать на кнопку звонка? Вряд ли бабушка успела сообщить, что он убежал из дома... Убежал ли? Выгнан!

Риф колебался...

В этот момент из кухонного окна, откинув занавеску, выглянул, прижимаясь лицом к стеклу, отчим, стал всматриваться в темноту... Риф отпрянул за деревья.

А потом медленно побрел прочь.

Нет, лучше завтра он подкараулит мать на улице...

Вяло подумал: где ночевать сегодня? На вокзале уже нельзя: милиция заметила, еле улизнул от пожилого усатого старшины... Наверно, лучше будет забраться по пожарной лестнице на чердак заводского Дома культуры: там никто не потревожит.

Странно: когда-то он ходил в этот Дом культуры заниматься музыкой — маленький мальчик, одетый в беленькую рубашечку, ко-

роткие штанишки, с большой нотной папкой в руке... А теперь?

Слезы появились на его глазах. Он не замечал их.

Была суббота.

В воскресенье до наступления сумерек Риф кружил по городским улицам, тоскливо подмечая, как веселы люди, отдыхающие от будничных забот; и те, кто, несмотря на выходной, занимались делом — тоже казались парнишке счастливыми. Все равно каждого из них впереди ждали какие-то радости, у каждого был дом, они знали, куда пойти, куда, в конце концов, приткнуться... А он? Закончится нынешний день, наступит новый... Что делать? В поселок он, как решил, — ни ногой! Под крышу к отчиму?.. Нет, только не это! Слишком крепко врезались в его память холодные, сказанные с брезгливостью слова Муртазы: «Что нюни распустил... парень, называется! Примерным человеком стань... вот потом приедешь».

Надо увидеть мать, поговорить с ней. Попросит он прощенья; скажет, что хочет одного: пусть она поможет ему устроиться учеником на завод — чтоб общежитие было. Станет он работать и поступит в вечернюю школу. Запишется в заводской оркестр. Жаль, что гитару продал, но с первой или второй полочки обязательно новую купит... Лишь бы взяли на завод!

Так размышлял Риф в этот воскресный вечер, и если чего боялся теперь: не отказали бы в заводском отделе кадров — ведь только шестнадцатый год пошел ему... Но мать — она же в заводоуправлении — поручится за него, к директору сходит, упросит... А он вначале упросит ее!

Впереди маячила решетчатая ограда парка, там в темной зелени сверкали огни, гремела джазовая музыка, стайками wpłyвали туда разряженные девчата, на большом щите зазывно красовалась надпись: «Танцы»... И Риф, подыскав удобное место, перемахнул через высокую парковую ограду.

Он долго стоял возле танцплощадки, втайне завидуя тем ребятам — таким же, пожалуй, по возрасту, как он сам, или чуть старше, — которые вели себя с девушками свободно и просто, и девушки, присмотреться, сами льнули к ним, охотно выходили в круг под грохочущую музыку плохо сыгранного оркестрика.

Он, возможно, постоял бы здесь еще, привалившись плечом к корявому стволу тополя, стесняясь выйти на свет: несвежая рубашка на нем, мятые брюки, нечищенные ботинки... Но так чудовищно фальшивили молоденькие подвыпившие оркестранты — Риф моментами уши был готов заткнуть, усмехался и негодовал про себя, чутко отмечая каждую неправильную, диссонансом звучащую ноту, и, наконец, не выдержав, пошел отсюда в глубь парка. Помнил, где-то на отдалении, за сектором аттракционов, должна быть бильярдная...

Стук шаров услышал издали.

Шумно и дымно было в бильярдной.

Вглядываясь в игроков и обступивших их зевак, Риф вдруг узнал Фарита, того самого Фарита, что еще недавно верховодил их поселковой компанией, а весной уехал сюда, в город, где, по слухам, стал работать монтером иль электриком на какой-то фабрике. Фарит был в красивом цветном джемпере, узких, в обтяжку импортных джинсах, с длинными, отросшими

до плеч волосами, с цветной косыночкой на шее. В зубах — потухшая сигарета...

Цепко шурясь, не отрывая взгляда от зеленого сукна, Фарит сильно и точно бил по шарам.

Уловил Риф чью-то фразу, сказанную тихо и почтительно:

— По сотне мажут...

Он не сразу понял смысл этих слов, но догадался: идет крупная игра — на большую ставку.

Теплое чувство колыхнулось в нем: Фарит здесь — будет с кем поговорить, посоветоваться... Фарит никогда его не обижал, любил слушать, как он, Риф, на гитаре играет. И вообще Фарит свой, поселковый, а сейчас вроде б на фабрике... устроит, возможно, к себе? Тогда отпадет надобность к матери обращаться. Заглянет он, Риф, к ней, к отчиму, скажет небрежно: «А я монтер — не знали? Ну пока... некогда мне, на дежурство спешу!»

Размечтавшийся Риф, сам того не замечая, смотрел на Фарита влюбленно и с восхищением. Тот, почувствовав, наверно, его взгляд, скопил глаза, обрадованно воскликнул:

— А, это ты, Артист!

Торопливо полез в карман джинсов, вытащил смятую трехрублевку, приказал:

— Живо — в магазин! Пару пузырей возьми. Тут дело затеялось — нельзя, понял, не вспрыснуть.

Риф зажал деньги в кулаке и только теперь остро, непереносимо ощутил, как хочется ему есть! До этого просто посасывало в желудке, подташнивало, а тут — как приступ... С утра во рту маковой росинки не было.

— Бегом, Артист!

И Фарит дружески подмигнул...

Будто на крыльях, понесся Риф в магазин, и еле-еле успел — уже закрывали его. Взял две бутылки вина, а на оставшееся купил колбасу, которую тут же, лишь от прилавка отошел, с жадностью съел. Но Фарит не стал спрашивать ни про закуску, ни про сдачу. Он по-прежнему весь был поглощен игрой — как и соперник его: высокий, модно одетый мужчина лет пятидесяти, с седоватыми висками и черными усиками. Мужчина заметно нервничал. Любопытные, дыша друг другу в затылок, окружали игроков плотным кольцом. Фарит, взяв у протиснувшегося Рифа бутылку, тут же наполовину выцедил ее из горлышка, не отрывая взгляда от кия в руках противника. Бросил Рифу:

— Чего стоишь как дуб? Открывай другую — пей сам!

Поспешно dokonчив свою бутылку, Фарит отшвырнул ее под стол, взялся за кий...

Риф тянул еще вино, когда вокруг раздались возбужденные возгласы:

— Вот это дал!

— Молодчага!

— Повезло!

— Мастерский ударчик!..

Риф не успел толком сообразить, в чем дело, а Фарит уже увлекал его к выходу, протискиваясь через толпу. Глаза Фарита лихорадочно блестели, он восторженно и одновременно затравлено оглядывался по сторонам, а мужчина — тот самый, с усиками — семена следом, дергал его за рукав, требовательно, неотвязчиво просил:

— Еще, говорю, одну сыграем? Вполовину... ну?!

— Хватит, — бормотал Фарит, — завтра

приду... Сегодня не могу... вот друг со мной... друга, понял, проводить я должен!

Тогда мужчина, изловчившись, ухватил Фарита за косынку на шее, словно задушить попытался; крикнул, перекосившись лицом:

— Будешь играть, недоносок?

Косынка затрещала, Фарит сорвал ее с шеи и швырнул в глаза недавнему своему партнеру:

— На, подавись, г-гад! — И — Рифу: — Рвем!

Отдыхались, лишь когда были уже за пределами парка, залетев в какой-то темный двор, заваленный пустыми ящиками. Фарит сказал:

— Там еще не так бывает, Артист. Куш сорвал — сразу рви когти! — Засмеялся, достал из кармана пачку денег, пошелестел ими; объяснил: — Это за один час у того секача взял... Понял? Честные монеты, трудом получены. Эх, жаль, магазины не торгуют, позакрывались... Айда на вокзал!

Несколько бутылок продали им из вагона-ресторана проходящего поезда дальнего следования. Фарит ругался:

— Три цены, понял, сорвал он с нас, сволочь! А что делать, где возьмешь?.. Зато выпить что — есть теперь!

По бутылке опорожнили здесь же, на перроне, за газетным киоском.

Риф пытался рассказать Фариту, как он жил последние дни, но у него получалось нескладно, вроде б даже совсем не о том, о чем хотел, сбивался он, по несколько раз твердил одно и то же, — Фарит хлопал его по плечу, успокаивал:

— Со мной не пропадешь, понял?

Они пошли в обнимку, горлая песню про пальмы в Гаграх...

Куда шли — Рифу было все равно. С Фаритом — хоть на край света!

Кого-то повстречали, оказавшегося Фариту знакомым, — «отметили» эту встречу двумя бутылками, в придорожных кустах, и теперь тот, третий, повел их куда-то темными закоулками...

Что мог после припомнить Риф?

В сумрачном полуподвальном помещении, со сводчатого потолка которого свисала на шнуре слабенькая, тускло мигавшая электролампочка, они пили водку и вино с какими-то парнями. Ему сунули в руки гитару, он играл, пока мог, кто-то все время пел «блатные» песни, — под звон посуды, смех, матерщину, бестолковый гам... Фарит и еще один с ним — лохматый, небритый, с глазами навывкате, густо татуированными пальцами — бросали на спор (кто метче!) нож в очерченный мелом круг на двери. И р-раз... и два... и р-раз... и два. Это он, Риф, качаясь, выплескивая из стакана себе на колени, пытался считать попадания. «Пей!» — ободряюще подмигивал Фарит и хохотал: в метании ножа он был удачливее лохматого.

Как смутное, уплывающее из сознания видение, призрачное, далекое от него, Рифа, — осталось другое... Парни приволокли с улицы что-то белое, кто-то из них, подпрыгнув, оборвал шнур электропроводки, темно стало — и вроде бы приглушенный женский голос, вроде бы кричала женщина... Здесь ли? Снаружи, за стеной?.. Потом спички жгли, на что-то смотрели, и он, Риф, отпихивая других, смотрел, но ничего не видел! И не было у него никаких сил... спать, только спать!

Когда же в рассветной мгле очнулся с дикой, разламывающей голову болью, приоткрыл

глаза — ужас сковал его. Рядом — вся в крови — лежала девушка.

Где-то поблизости звучали голоса, лаяла собака.

Пятясь, Риф медленно отступал к полуоткрытой двери, с содроганием рассматривая свои руки... Они были в крови!

Уже на улице, очнувшись окончательно, создавая весь кошмар увиденного и приключившегося с ним, — он закричал и бросился бегом от страшного места...

...Бану Махмутовна не вызывала больше Зилару: как следователь она, наверно, закончила всю свою работу по этому делу, передала его по инстанции дальше, — да и что еще, конечно, могла добавить к рассказанному ранее мать подследственного Рифа Булякова?!

И Зилара пошла к следователю сама, надеясь при ее сочувственном отношении добиться разрешения на свидание с сыном. Ведь болен же, больной!..

Бану Махмутовна выглядела утомленной, сетка мелких морщинок явственно обозначилась на ее одутловатом, в нездоровой желтизне лице. Она была очень занята, предупредила, извинившись, что больше пяти минут для разговора уделить не сможет, и, выслушав сбивчивые слова Зилары, сказала ей:

— Свидания вам не смогут дать. Во всяком случае, сейчас... Ждите суда. А вообще... Наверно, утаивать от вас, как от матери, не надо. Вообще с сыном вашим по-прежнему плохо. Такой нажим на психику! Нужно надеяться, само собой... но все же, все же...

Зилара места себе не находила. Продлила отпуск за свой счет, но дома тоже стены дави-

ли, одиночество угнетало: хоть вой да на стену лезь! На работе же, будь она сейчас там, непереносимыми казались сочувственные и осуждающие взгляды сослуживцев, не раз уже доводилось слышать её обрывки чужих разговоров о себе — нелестных, как правило, разговоров... Может, впервые задумалась она над тем, почему люди после её сближения с Муртазой резко переменили свое отношение к ней, и тот холодок, что появился тогда, в тот год, не улетучился со временем, а сейчас, когда произошла беда с сыном, — уже не холодок ощущался: именно глухое, затаенное осуждение! Да-да, её осуждали, и хоть вслух, в лицо, вернее, никто ничего не говорил — но заметно же...

Раньше, признаться, ей было безразлично, что и как думают о ней, как на заводе отнеслись к её разрыву с Вакилом... В конце концов, у каждого свое право на устройство собственной судьбы. Это её, только её дело: с Вакилом жить или с Муртазой. Внутренне она даже гордилась, особенно на первых порах: такой мужчина, как Муртаза, — и у моих ног! А вы, которые... вы сколько вам угодно болтайте, судачьте, сплетничайте: от пересудов не увяну!

Любовь к Муртазе затмила все.

Но почему же не дает ей сил эта любовь сейчас, в невыносимо трудный для нее момент?

Хуже того: Муртаза вдруг как бы вовсе перестал для нее существовать, своим близким присутствием вроде бы даже раздражает ее. Впрочем, он как будто бы сам это почувствовал: с того дня, когда раздавленный страхом Риф постучал на рассвете к ним в дверь, Муртаза старается проводить время где угодно, лишь не в стенах квартиры, ни с ней, Зиларой вместе... Уже не всегда ночует дома, и раньше

такое взбесило бы Зилару, хорошенький бы концерт устроила ему, — теперь равнодушно смолчала, молчит. Бог с ним! Ведь, подумать, ни у него горе — у нее... Правда, в какие-то минуты, ожесточаясь, она начинала придирчиво, с пристрастием «допрашивать» себя: а в чем ты видела любовь Муртазы? Любовь человека, в угоду которому, по существу, предала сына... Предала, отпихнула от себя, *освободилась*, в боязни, как бы только не потерять его, Муртазу! Риф или Муртаза... И она выбрала Муртазу, спровадив Рифа к своей старой капризной и злой (что перед собой скрывать?) матери.

Выбрала, да при этом еще обманывала себя, *что так лучше для сына*. Утешалась мыслью: отдохнет Риф в поселке, а на следующий год она все сделает, чтобы снова он был рядом, рос, как все другие дети, под родительским крылом. Но — год за годом... восемь лет!

Риф рос как хлебный стебелек, по воле случая оказавшийся в одиночестве на глухом пустыре...

А Муртаза?

Эти пьянящие без вина, сводившие ее с ума первые месяцы их близости... Нет, это любовь, любовь! Кто не пережил такого — несчастный, обделенный человек... Муртаза открыл ей, какой может быть, какой бывает она, любовь. Он, не уставая, не повторяясь, шептал ей — про ее гибкое, несравненное тело, про ее чистую гладкую кожу, шелковистость волос, нежность рук... боже, какие это были слова!

Были, были...

Утром, приняв ванну, она долго стояла перед большим зеркалом, разглядывая себя. Лицо заметно оплыло, непонятно когда новая глубо-

кая складка появилась на шее, тело давно потеряло прежнюю упругость, это уже тело женщины, вошедшей в возраст, которой за тридцать пять... И где же они, те, прежние слова Муртазы?! Долго ли она их слышала?

С горечью припомнилось давнее — нечаянно подслушанный разговор Муртазы с его дальним родственником. Жили уже с Муртазой третий год, и приехал он, этот родственник, — мужчина средних лет, с манерами уверенного, избалованного вниманием другого человека, работавший где-то в районном центре председателем райпотребсоюза. «Торгаш», — сразу окрестила его про себя Зилара. В поздний час легла она спать, а они все сидели на кухне за столом, пили коньяк, говорили, вспоминали, хвалились... Она несколько раз просыпалась, и все звучали-звучали их громкие — на большом подпитии — голоса. И в какой-то момент сквозь дрему услышала, как родственник сказал Муртазе:

«Жену, не возразишь, симпатичную взял. Но ведь бабу! С ребенком. От другого мужика... Девочек не было?»

Сон как рукой сняло; она напряглась, ожидая, что же ответит Муртаза.

Он засмеялся:

«А верно — красивая? А что баба, как ты выражаешься, — это даже лучше. Всегда будет в страхе, как бы я не ушел, девушку не стал себе искать...»

И ведь после она ни разу не упрекнула его за те слова, даже не сказала, что слышала их, будто бы действительно признавая за ним право на такой ответ...

Нынче же в душе ее, терзаемой болью за Рифа, неуходяще живет — укором, обвинением — то самое предостережение, что высказал

при расставании Вакил: «Ты сломаешь судьбу нашему сыну...»

И другое помимо ее воли оживает в душе — воспоминания о Вакиле, о жизни с ним... нет, о жизни втроем: она, Вакил, маленький Риф... Удивительно, но воспоминания эти не просто приятны Зиларе: они будто бы согревают и хоть на время успокаивают ее измученное сердце.

Где он, Вакил? Следовательно Бану Махмутовна говорила Зиларе, что считает долгом разыскать отца Рифа, ведь тому должно быть не безразлично, что произошло с сыном... Бану Махмутовна посылала запросы в те населенные пункты, откуда последнее время от Вакила на имя Файрузы-эби поступали денежные переводы. Впрочем, что такое «в последнее время»? Три года уже, как деньги от Вакила, перестали приходить.

«Что делать? Как быть?» — Зилара металась по тесно заставленным мебелью комнатам квартиры, словно в неведомом лабиринте, час от часу все больше пугающем тем, что выхода из него нет...

В ночь перед заседанием суда Зилара не сомкнула глаз. Муртазы не было — день назад уехал в длительную командировку на один из южных нефтезаводов. Сам себе собрал чемодан; прощаясь, поцеловал и виновато развел руками: «Что делать — посылают. Береги себя, милая!»

Из дома она вышла, когда город только-только просыпался. Порывистый осенний ветер сдирает с деревьев последние бурые листья, швыряет их на мокрый после ночного дождя асфальт.

До здания нарсуда было далеко — несколько автобусных остановок. Но Зилара выбрала путь еще более долгий — по окраинной улице, в обход... Куталась в пальто; не замечала слез, туманивших глаза.

Молодая женщина, быстро шедшая навстречу, приостановилась, спросила участливо:

— Простите... вам плохо? Помочь?

— Нет... спасибо...

Зилара свернула к водоразборной колонке, умылась ледяной водой; оглянулась на женщину... Торопится куда-то, свои дела у нее, свои заботы. Тягостно всплыло в сознании: на фото, что когда-то показывала ей Бану Махмутовна, тоже была молодая женщина... девушка... вот таких же примерно лет, как эта... если только самую малость помоложе... над ней надругались, ее убили, об этом сегодня будут говорить на суде... О загубленной человеческой жизни, о тех, кто загубил ее... Имя Рифа будет звучать вместе с именами убийц-насильников. Хотя бы потому, что Риф *присутствовал* там... Она, мать, увидит своего сына из зала, не сможет до окончания суда подойти к нему. Он один — подросток, школьник — в группе совершеннолетних, взрослых парней. И конвой!

Где взять силы, чтобы все выдержать?

Еще и еще плескала холодную, обжигающую воду в лицо...

Потом долго сидела на скамейке бульвара, равнодушная к стылости, от которой коченели ноги.

Когда же наконец появилась перед серым, выкрашенным в унылую краску зданием суда — до начала заседания все равно оставалось не меньше трех часов. Оглядываясь по сторонам, думая, где бы поблизости переждать, — Зила-

ра вдруг увидела человека в замшевом полупальто и, под цвет ему, коричневой кепке, который стоял, прислонившись к фонарному столбу, и пристально смотрел на нее. В руках он держал большой портфель с привязанной к ручке, забыто не оторванной биркой Аэрофлота.

«Вакил?!»

Это был он.

Зилара чуть не вскрикнула; прижав ладонь к губам, молча, расширившимися глазами глядела на него... Он тоже не двигался с места и по-прежнему смотрел на нее. Скорбным и тяжелым был его взгляд.

Но вот он сделал шаг от фонарного столба... она замерла... он повернулся и пошел прочь. Громко, задыхаясь, Зилара позвала:

— Вакил... куда же ты, Вакил!

Он остановился, несколько секунд будто бы раздумывал, что же ему делать, — и медленно, очень медленно стал приближаться к ней. Теперь она жадно, словно боясь, что может никогда больше не увидеть его, вбирала в себя теперешние черты бывшего мужа своего: бледное, постаревшее лицо с синевой усталости под запавшими глазами, твердо сжатые, резко очерченные губы, не забытые ею, такие же, как у Рифа... Какое родное, близкое лицо! И если судить по его одежде... кто-то заботливо следит за его одеждой... не сам он, уж это ей не трудно заметить... Женат, конечно.

Зилара ощущала, как сильно, часто и тревожно бьется в груди сердце. Чего-то ждала, на что-то надеялась... На что — на чудо? На какое?

Приблизившись, Вакил глухо сказал:

— На суде нам делать нечего...

Она подалась к нему:

— Его окончательно признали невиновным... отпускают?!

Лицо Вакила исказилось, он быстро, отвернулся. Ужасная догадка сковала Зилару; и как через густую вату доходили до нее обрывистые слова Вакила:

— Он в больнице... и кажется, надолго... если не навсегда...

Зилара видела, как затряслись плечи Вакила, и не столько расслышала, сколько почувствовала, *что* он еще сказал:

— Как мы перед ним виноваты!

Мир почернел; она пыталась устоять на ногах, вслепую ища ослабшими руками невидимую спасительную опору...

ПРИГОВОР

— ...И прежде чем будет 1
оглашен приговор народного
суда, я не могу не выразить
своего недоумения: каким же
образом в семье такого чело-
века, как инженер Салихов...
инженера, занимающего весь-
ма крупную должность, из-
вестного, следовательно, в го-
роде... и талантливое, по от-
зывам специалистов, — в этой
семье вырос преступник? Чем,
спрашивается, объяснить тот
факт, что в интеллигентной,
благополучной, как мы назы-
ваем, семейной среде, где, ка-
залось бы, сама житейская
обстановка, сам дух ее долж-
ны способствовать формиро-
ванию цельной, настоящей
личности, вдруг произрастает
существо, все поведение кото-
рого идет вразрез с нормами
морали и нравственности на-
шего общества, и более то-
го — поведение которого
просто-напросто опасно для
общества?!

Произносить речи — дело
адвокатов и прокурора, одна-
ко судья Галиакберов, когда
считал необходимым дать соб-
ственную, личную оценку тому
или иному конкретному слу-
чаю, особенно возмущившему
его, — позволял себе такие
вот отступления. Четверть ве-

ка уже он твердо стоит на охране советского правосудия, строг и непоколебим в своих решениях, его уважают и боятся; и те, чей процесс должен вести он, Нурулла Рахманович Галиакберов, знают: снисхождения не будет, ни на одну буквочку судья не отступит от требований Закона...

Сегодня же Галиакберов, кроме всего прочего, не считал себя вправе промолчать и как отец, тоже имеющий сына, и потому особенно непримиримо осуждающий равнодушие, мягкотелость родителей в воспитании детей. Голос его звучал резко, слова падали в зал хлестко, тяжело, инженера Салихова они били, будто пощечины. Инженер все ниже, ниже опускал голову, пряча от чужих глаз багровое, потное лицо... Только внезапный полусшепот за спиной заставил несчастного отца на какой-то момент отвлечься от обличительной речи судьи; он теперь жадно и напряженно ловил чужой приглушенный разговор:

— Наловчился — обвинять-то! — Это женщина шептала, явно раздраженная тем, как говорил судья Галиакберов. — А у самого, сегодня слышала я...

— Что у него самого? — заинтересованно спросил мужчина.

— Сынок вроде б на подделке документов попался... на обмане каком-то...

— Вр-решь?!

— За что купила — за то и продаю! Ехала сюда — старичок на весь автобус рассказывал, удивлялся...

— А-а, сплетни... поверила! Стал бы Галиакберов вот так перед нами распространяться насчет родительского долга, когда у самого, говоришь...

— Да не я говорю — старик в автобусе!

— Ты же повторяешь...

— За что купила...

— Ну заладила... А я знаю этих старичков-бездельников. Хуже баб они!..

На говоривших зашикали — и те замолчали.

«В самом деле, сплетни, — угнетенно подумал Салихов. — Случись такое у судьи, с родным сыночком-то, — разве тогда был бы он ко мне столь безжалостным? Ни разу голос у него не сорвался, не дрогнул! У такого все чисто, спокойно...»

Инженер судорожно раздергивал узел душившего его галстука, — суд приступал к перекрестному допросу обвиняемых.

2

Увы, то, о чем возбужденно шептала женщина за спиной инженера, было не отголоском пустых, надуманных слухов... Сын строгого судьи Галиакберова действительно находился под стражей. Вот только сам судья, когда произносил свою гневную, высокопафосную речь, не знал еще об этом.

Не знал и не мог даже в мыслях предположить, что такое возможно...

А нынешний день вообще начался для него самым, можно сказать, приятным образом.

И это было как продолжение того устоявшегося, радующего душу повышенного настроения, что владело им, Галиакберовым, все последнее время... Настроение человека, сознающего свою силу и уверенность в делах, убежденного в том, что его завтра будет не менее хорошим, чем сегодня, а может быть — еще лучше!

Не волновали надвигавшиеся выборы, как бывало, вспомнить, в прежние, далекие годы... Галиакберов знал: уж его-то кандидатура в народные судьи будет выдвинута обязательно! Тверд, безупречен в работе—это само собой... Но и отношение к нему... Отношение тех, от кого прежде всего зависит: рекомендовать, нет ли? Только на прошлой неделе, например, заместитель председателя Верховного суда республики на совещании юристов города во всеуслышанье хвалил его, Галиакберова, за высокое качество проводимых судебных заседаний, за четкую обоснованность выносимых решений. Дождаться же одобрительных слов от заместителя председателя Верховного суда, человека сурового, требовательного, — совсем не просто. Коллеги в тот день поздравляли Галиакберова, словно именинника, и он скупой улыбался в ответ, невольно подмечая, кто искренен, а кто завидует ему...

И тут же, вскоре, появился у него в кабинете журналист из республиканской газеты: расспрашивал, записывал... Понятно, что корреспонденты беспричинно не приходят. Редакции, наверно, подсказали, посоветовали: вот, мол, есть такой-то авторитетный судья, — и неплохо было бы увидеть о нем статью накануне выборов... Корреспондент не одними судебными делами интересовался — биографией еще, как он, Галиакберов, нашел свое призвание в такой трудной, ответственной, непохожей на другие профессии. Ведь как-никак судьба человека, которому на суде предстоит выслушать приговор, подчас зависит не только от одной профессиональной подготовленности судьи, но и от того еще, каков, он, судья, как личность, что за характер у него... Это тоже со счета не сбросишь! «Так ли,

Нурулла Рахманович?» — допытывался дотошный журналист.

Он ушел от прямого ответа, заметив лишь, что при их деле, когда судьба приговариваемого к наказанию человека определяется точными, непререкаемыми рамками статей кодекса, — приходится одинаково опасаться как собственного, допустим, бездушия, так и повышенной мягкосердечности. И то и другое в практике суда неприемлемо! Следуй требованиям закона — и ошибки не будет, и сомнений, что поступил неправильно, тоже не будет...

Корреспондент, было видно, слушал не просто внимательно — с уважением. Галиакберов понял: и напишет, значит, так же — уважительно.

А сегодняшним утром прямо домой позвонил секретарь райкома партии Акимов. Такое, конечно, в редкость — чтобы сам первый секретарь звонил, да еще к тому ж не на службу, а по домашнему телефону.

— Нурулла Рахманович, как поживаете, что интересного?..

— Спасибо, спасибо... очень... вполне... — бес толково отвечал Галиакберов, с трудом справляясь с внезапной растерянностью.

— Нам стало известно, что вашу кандидатуру вновь выдвинут в народные судьи... Примите мои поздравления.

— Благодарю вас, — уже с чувством, обретая привычную форму, отозвался Галиакберов.

— Видели, разумеется?

— Что? Простите, не понимаю...

А у самого блаженно защемило в груди: «Статья... это про нее!»

— Обширный очерк в газете о вас...

— Да?!

— Считайте, Нурулла Рахманович, я первый взял суюнче¹, — пошутил секретарь, заканчивая разговор.

По пути на работу, Галиакберов не стал останавливаться у киоска, уверенный, что секретарша, успев прочитать очерк, непременно сообщит ему об этом — и обязательно уже приготовила для него несколько экземпляров газеты.

Так оно и было.

Секретарша впорхнула в кабинет с сияюще-многозначительным лицом и разложила перед ним на столе газету таким образом, что Галиакберов сразу же увидел свой портрет...

Позже, за закрытой дверью, он с учащенным сердцебиением всматривался в свое изображение на пахнувшей краской газетной странице. «Каков тут, а? Что люди скажут?» Лицо его на снимке было серьезным, хмуроватым, пожалуй. Глаза смотрели с той суровой прямо-той, что свидетельствует о крепком, испытанном времени характере. Что ж, должны понять... Он — судья. Страж закона, его слуга и воитель. Мягкое, расплывчатое, лицо вряд ли бы отвечало направленности судейской службы...

И материал — Галиакберов поразился — был написан крепко, мускулистыми, энергичными фразами. Корреспондент верно оттенил служебное кредо Галиакберова: закон в каждом случае должен соблюдаться неукоснительно, преступнику — никакого снисхождения! Каждый приговор — поучительный урок для тех, кто пытается нарушить святые, обязательные для каждого члена общества государственные нормы

¹ Суюнче — самая первая весть о радости, а кто приносит ее — тому по народному обычаю полагается подарок.

правопорядка... Это — требования законоустановлений, это, в конечном счете, воля народа.

«Что ж, — удовлетворенно подумал Галиакберов, аккуратно складывая газету, — я такой и другим быть не могу. Не всем нравится, но...»

Он представил, как читают строки о нем его коллеги — и что они думают при этом, что будут говорить меж собой. Ведь многие из них явно не одобряют его жестких методов в ведении судебных процессов. Например, тот же адвокат Байназаров, чей голос сейчас слышится за дверью: спрашивает он что-то у секретарши... Пришел на заседание по разбору дела, связанного со злостными хулиганскими действиями сына инженера Салихова, — и уже полчаса остается до начала заседания...

Но Байназараов, если рассуждать, на то и адвокат, защитник, чтоб апеллировать к мягкости, снисхождению. А поглубже копнуть — Байназарова к этому и другие причины побуждают... Что же касается остальных — они, осуждая заглазно его, Галиакберова, стиль работы, тем самым оправдывают свою неспособность оставаться до конца принципиальными, бескомпромиссными при решении сложных, ответственных вопросов современной действительности. Добренькие, так сказать, «чистенькие»! А задумались бы, черт возьми, — какая цена у такой сомнительной доброты?!

Галиакберов снова благодарно взглянул на сложенную уже газету, сильной, тяжелой ладонью разглядел случайные складочки-морщинки на ней...

3

Перед концом рабочего дня позвонил старый друг, поздравил с очерком, предложил поехать

на рыбалку: завтра ж суббота, выходной! И отправляться лучше немедленно — чтоб в ночь на реке быть, утренний клев не прозевать.

Галиакберов колебался. Хотелось сегодня вечером посидеть за домашним столом в дружеской компании. Все же повод для этого существенный: он, как говорится, герой дня, прес-са отметила! И обзвонить кого надо, пригласить — десять минут потребуется, не больше. Вот один из них, друзей, сам позвонил — дожидается, что он ответит...

Но в конце концов зачем добрую инициативу губить! Рыбалка — так рыбалка... Неделя хоть и приятная была, однако по делам своим напряженная: устал он. А там, за удочками, отдохнет, разумеется; Рамзия же за это время тоже успеет подготовиться: позовут они всех на воскресный обед!

И сказал он в телефонную трубку:

— Принято. Встречаемся на вокзале.

Когда привычным маршрутом — через две шумные, людные улицы — шел домой, то, как всегда, горделиво подмечал: узнают, провожают взглядами! Не все, конечно, однако многие, очень многие... Иные, глядя на него, перешептывались.

«Газеты нынче в каждой семье читают», — подумал Галиакберов.

Дома он не застал ни Рамзии, ни сына, удивился этому, но времени до поезда оставалось в обрез — не стал звонить жене в больницу, где, скорее всего, задерживала ее какая-нибудь внеочередная операция; быстренько нацарапал записку, собрал рыбацкие снасти, рюкзачок и, выбежав из подъезда, удачно поймал такси...

Хоть за вечерело, но было еще светло, розоватые краски играли на высоком небе, лучи за-

катного солнца подсвечивали густую листву отдыхающих от дневной жары деревьев. Галиакберову казалось, что вот сейчас — по пути на станцию — он уже освободился от всяческих забот, может расслабиться душой и телом, впереди ждут желанные и знакомые рыбацкие радости: ночной костер близ воды, трепетное ощущение долгожданной удачи при сильной поклевке, дымящаяся уха, неторопливый разговор, когда на треноге, над пламенем, сердито клокочет чайничек. Умиротворенно смотрел он из машины на мельканье человеческих лиц, на встречный поток автомобилей, на стремительно убегавшие назад магазинные вывески, окна, фонарные столбы, пестрые щиты лозунгов и призывов, — и снова зарождалось, крепло в нем неизъяснимое предчувствие обязательных в его дальнейшей жизни счастливых мгновений.

Если бы знал он, в какие роковые часы уводит его нелегкая из города на эту самую рыбалку!

Но у событий свое развитие...

4

В электричке, мчавшейся навстречу зеленому простору, они поначалу, как бывает при встречах, жадно расспрашивали друг друга о житье-бытье, сбиваясь на общие, близкие общим воспоминания; и товарищ нет-нет да вставлял в разговор что-нибудь вроде такого: «Ну, брат, не тебе жаловаться, уж ты-то свою дорогу нашел безошибочно, крепко жизненную линию ведешь, — молодец ты!..» И в его словах было неподдельное уважение к земляку, ровеснику, с которым в детстве босиком бегали по одним тропинкам и который сейчас, в зрелые

годы, далеко обошел его, стал авторитетным, признанным человеком в городе, а прикинуть — во всей их автономной республике, пожалуй!

Когда же устали говорить, каждый погрузился в свои думы — растревоженный воспоминаниями Галиакберов снова и снова возвращался к картинам далекого детства. Может быть, видения прошлого навевались к тому ж мелькавшим за окном сельским пейзажем: пестрые луга со стадами на них, приземистые крыши рубленых домов, редкие деревья, голубые озерца в изумрудной оправе камышей, одинокая подвода на пыльной дороге...

Как из густого тумана, постепенно обрисовываясь, проступало скуластое, темное от студеных ветров лицо отца. Тот с юности пас коней у бая Керима, зимой и летом пропадал в степи, в семье его почти не видели. Иногда — летними погожими деньками — он увозил с собой к табуну пятилетнего сына, смело сажал на резвого жеребчика, и для Нуруллы, крепко вцепившегося в конскую гриву, не было большего счастья, чем мчаться, мчаться вдаль слыша в замирании сердца звонкое эхо земли...

Бай Керим владел обширными угодьями, был до мелочности скуп и до безжалостности властен. Отец служил ему верой и правдой два десятка лет, однако бай — к удивлению всех — относился к табунщику Рахману не только с плохо скрываемым презрением, но даже враждебно. Вроде б из-за того, что когда-то кто-то из рода Рахмана нанес жестокую обиду предкам Керим-бая... Впрочем, как знать! Во всяком случае, люди советовали отцу: «Что — свет клином сошелся на Керим-бае? Плюнь на этого жадину, уезжай в другие земли, не позволяй собой помыкать! Пусть-ка поищет такого, как

ты, работника!..» Но отец, видимо, страшился неизвестности, боялся срываться с насиженного места; любил повторять он, что не раз слышивал от проезжего народа: в чужих степях богачи еще сильнее, подневольные же люди — еще беднее...

Однажды бай, самолично, как всегда это делал, проверяя количество лошадей в табуне, недосчитался одного из племенных жеребчиков. Чуть не с кулаками набросился он на Рахмана, плетью замахивался: «Куда подевал коня?! Продал? Зарезал? Угнал?..» Оправдывался, как мог, табунщик, руками виновато разводил; сам в толк не мог взять, когда же отбил жеребчик... А между тем в такой, как тот, ненастный день действительно можно было потерять коня — разбойно дул ветер, поднимал и крутил жесткий снег, застилая видимость.

И Керим-бай, вволю наругавшись, сказал табунщику, как отрубил: «Поезжай — ищи коня. Где хочешь, хоть за горой Каф-тау! Не приведешь — велю моим парням заporоть тебя. И никто твоего крика не услышит...»

Все же был он робким, отец Нуруллы: и тут не посмел ослушаться владыку бая, покорно поехал на своей пегой лошаденке навстречу приближавшемуся бурану, скрылся в снежных вихрях. Знал, конечно, что даже в сто раз ценнее будь пропажа — и то в такую непогоду нельзя искать, да в одиночку к тому ж. Но поехал...

Неизвестно, где плутал Рахман в белой мгле по долинам и урочищам Караидели, однако ранним утром лошадь привезла его в родной аул — к знакомой ограде. Когда люди увидели нахохленную, заиндевевшую фигуру табунщика, недвижно застывшую в седле на измученной, тяжело поводящей боками пегой кобылке, никто

вначале не подумал, что Рахман мертв, что он просто-напросто замерз в слепую буранную ночь... Подбежал Керим-бай, громко обзывая табунщика бездельником и вором, ткнул его кулаком в бок — и одеревеневшее тело Рахмана стало медленно валиться с седла...

Племенной жеребчик отыскался в этот же печальный день. Вернее, искать его не пришлось: он, оказывается, прибился к другому, тоже байскому табуну, и не будь Керим под изрядным хмелем, когда считал свое конское поголовье, — еще в тот же вечер, не посылая Рахмана на верную гибель, мог бы он разобраться, что к чему: где недочет, а где, наоборот, избыток... Но с бая, известно, взятки гладки. На каком суде тогда можно было доказать его вину? Притворно изобразив скорбь на жирном лице, заглянул Керим-бай к многодетной жене табунщика со словами утешения — высыпал горсть монет на кошму да велел Нурулле прийти за мукой и мясом. «Для вас не пожалею: набирай еды — сколько унесешь!..» А много ли за один раз мог унести он, тонкий, словно хвостинка, мальчик?!

И лучше б подавился бай Керим тем горьким мясом!

Слепли от слез глаза матери; жуткими морозными вечерами, недвижно уставясь в пламя огня, тихо напевала она одну и ту же песню:

Он садился на коня,
Я ружье держала...
С неба пала вдруг звезда,
Беду предвещая...

И года не прошло, как мать, став похожей на тень, ушла вслед за горячо любимым ею мужем в сырую землю. Если бы не жаркие со-

бытия гражданской войны, уничтожившие баев, одарившие силой бедных и угнетенных,—наверяд ли бы выжили осиротевшие дочери и сыновья табунщика Рахмана. Народная власть поставила их на ноги, выкормила, как родных детей своих, и выучила.

Галиакберов, задумываясь, верил, что суровость его, за которую подчас упрекают коллеги, зародилась именно тогда, в раннем детстве. Ее истоки нужно искать в том потрясении, когда он слабым, незащищенным сердцем ребенка постиг всю драматичность гибели отца и матери, которых легко увели со света несправедливость, зло, беззаконие... Он не может и не хочет быть снисходительным ко всем темным человеческим поступкам, в основе которых корысть, страсть, наживы, опасность для других... Не просто он, Нурулла Рахманович Галиакберов, а народный судья (надо только вслушаться, как звучит это: *народный судья!*) Галиакберов! Тем более что, по его убеждению, никакой социальной почвы для возникновения преступлений в нынешнем социалистическом обществе нет. Следовательно — все из-за распушенности, промахов в воспитании, из-за мелочных, низменных страстишек, которым только дай волю разгуляться — они мигом в чудовищные страсти-мордасти вырастут!..

Электричка меж тем дальше и дальше уносила их от города, от всех дел, к которым они были или, сами того еще не зная, должны были быть причастными. Друг Галиакберова, подметив на лице того долго не уходящую печальную сосредоточенность, чтобы, наверно, развеять ее, сказал — однако не очень-то, пожалуй, удачно:

— А не позавидуешь вашей работенке, Нурулла! Осудил, поди, кого-то сегодня — и маешься: так ли, нет?

— Психолог, насквозь видишь, — натянуто улыбнулся Галиакберов. — Но не пора ли рюкзаки надевать? Сейчас наша остановка...

5

С рыбалки возвращались субботним полднем, отдохнувшие, довольные; и Галиакберов вез домой двух щук, по килограмму, не меньше, да еще десятка два полосатых, красноперых окуньков. Лежали они в мешке, бережно обложенные мокрой травой. И дома будет дымящаяся, приправленная перчиком и лавровым листом уха!

Опять знакомые приветливо здоровались с ним, и если некоторое удивление сквозило в их взглядах — понять можно было. В рыбацкой одежде он, Галиакберов, с удочками, рюкзаком, — часто ли судью таким увидишь? А ему, Галиакберову, даже приятно подмечать подобное удивление: пусть знают, что при всей его строгости и суховатости в отношениях с людьми — ничто человеческое, как молвится, ему не чуждо, свои радости он находит, например, в общении с природой... Жаль, что не догадался сказать об этом — про природу — в беседе с корреспондентом: уж он бы отразил это в очерке непременно!

И только взгляд одной пожилой женщины — пристальный, недоумевающий вроде бы, необъяснимо странный — несколько смутил Галиакберова. Но он тут же подумал, что женщина или мучительно старалась припомнить, где она прежде видела его, или, возможно, когда-то в суде он разбирал дело, к которому она каким-то образом имела отношение. Но, скорее всего, женщина запомнила его портрет на газетной

странице (ведь только вчера это было!), и сейчас ей показалось, что они знакомы, но откуда — сообразить она никак не могла...

Во второй раз некое тревожное смущенье коснулось сердца Галиакберова уже во дворе дома, когда на его бодрое, веселое приветствие соседи, сидевшие на скамейке у подъезда, ответили как бы даже удивленно, вопрошающе вглядываясь в него, словно пытаясь отыскать на лице судьи ответ на мучившую их загадку... Он торопливо стал подниматься по лестнице.

И тут произошло вовсе удивительное: хлопнула дверь наверху — вниз по ступеням побежала Рамзия, возбужденная, с заплаканными глазами, и не схвати он ее за руку — она б не узнала его. Справившись с секундным замешательством, она воскликнула:

— Наконец-то!..

— Что случилось?

— Ох, Нурулла, горе... какое горе! Что делать-то?!

Галиакберов почувствовал, как по всем жилам его, сковывая их, пробежал мороз, во рту стало сухо — и спросил он чужим голосом:

— Что за горе?

— Айрат наш... Арата нашего...

Она всхлипнула и закрыла лицо ладонями.

— Да говори ж!

Он сильно потрянул ее за плечо.

— Айрат...

— Ранили? Убили?

— Что?! — Лицо Рамзии стало как мел, глаза в ужасе расширились. — Убили?!

— Чорт побери, это я у тебя спрашиваю! — громко, в ярости закричал Галиакберов. — Да объясни ж наконец!

— Айрат арестован, — произнесла наконец Рамзия. — Из милиции звонили...

Несмотря на внезапность такого сообщения, Галиакберов сразу же вздохнул с облегчением. Ох уж эти женщины, напустят ужаса и тумана — удар, того гляди, хватит!

— За что арестовали?

— Сергей Тимофеич звонил... Не одного Айрата... Что-то в магазине они натворили, что-то с чеками...

— «Что-то, что-то»... — передразнил, все более успокаиваясь, Галиакберов. Подумал: уши надо было надрать прохвостам, а не в милицию тащить, — сорванцы же, школьники, по пятнадцать лет... Навряд ли что серьезное, подпадающее под статью Уголовного кодекса... К тому ж звонил Сергей Тимофеевич Колесников, начальник райотдела милиции, давний хороший знакомый: уж он-то не «навесит» на мальчишек лишнего! Усмехнулся даже Галиакберов: «Тоже мне... трагедия».

Совсем было обрел он недавнюю уверенность, ровность духа, но тут опять вспомнился газетный очерк, последняя речь на процессе вспомнилась, в которой он резко обвинял отца — инженера Салихова — за плохое воспитание сына... и заныло, закололо в груди. Что бы там ни натворил Айрат — ой, как некстати, какие разговоры по городу пойдут! И идут уже, конечно... Теперь-то понятно, отчего так заинтересованно оглядывались на него, судью Галиакберова... Подарочек от сыночка: как раз когда в печати расхвалили, когда кандидатура в народные судьи, можно считать, одобрена!

Липкие щупальца тревоги вновь коснулись его...

Спускаясь, прошел мимо жилец с пятого этажа, с любопытством, замедлив шаг, покоился на них, и Галиакберов взял жену под локоть, сказал успокаивающим тоном:

— Дома сейчас все обсудим...

— Но как же, Нурулла... бежать надо, спасти ребенка! Могут погубить его. В милиции ж!

— Есть у тебя хоть немного ума? — снова не на шутку вспылil было Галиакберов, но осадил свой гнев; примирительно закончил: — Прежде, говорю, обсудить надо. И что ты в этом деле без меня, а?

— Да, да, — покорно кивнула головой Рамзия.

Галиакберов изобразил подобие улыбки, стремясь показать, что ничего особенного не происходит: мимо опять шли люди... Жильцы этого же подъезда, этажом выше их квартира. Старый отец и дочка в возрасте... Мило поздоровались, улыбнулись Галиакберовым. «Наверно, не знают еще», — подумал он, чувствуя, что тяжесть на душе становится давящей, безысходной. Так и случается: ты не ждешь, а беда за углом... Именно сейчас не хватало ему неприятностей, да?! В такой-то момент, когда все, казалось, улыбалось и рукоплескало ему... «Проклятый мальчишка, — ругал мысленно сына. — Какую свинью подложил! Ну если сумею через час-другой выволить из милиции — задам же трепку, на всю жизнь, стервец, запомнит!.. Вот к чему приводят сверхдемократические методы воспитания, когда подлинная строгость подменяется увещеваниями, уговорами, надеждами на сознательность... Начиталась Рамзия педагогических книжек да журнальчиков: пальцем, дескать, не тронь его, Айратика, у него,

сыночка, высокие духовные запросы, их понимать, мол, надо... А надо было сурово спрашивать — вот что!»

Так рассерженно размышлял Галиакберов, пропуская впереди себя в дверь квартиры жену. Он не сомневался, что после разговора с начальником милиции сына тут же отправят домой: лучше отца никто с ним не разберется, никто так справедливо и памятно не накажет! И было что-то похожее на обиду: почему Колесников стал звонить, не сразу выпустил мальчишку, чего-то дожидается... Чтобы тем самым подчеркнуть свою служебную значительность? Дать понять судье, что тот хоть сколько-то — пусть в этой истории — зависим от него? Но вроде бы не из таких он, Сергей Тимофеевич Колесников...

Галиакберов усадил жену на кушетку, принес ей из кухни стакан холодной воды; выждав, пока успокоится она, спросил:

— А теперь: что тебе известно? Какие подробности? И без слез, пожалуйста... Удивляюсь: врач, хирург — и никакой выдержки!

Оказалось, Рамзия толком ничего не знает. Айрата вроде бы арестовали с двумя какими-то дружками при попытке получить в магазине товар по поддельным чекам... Вот и все. Подробиостей никаких. Но и этого было уже достаточно, чтобы лицо Галиакберова мгновенно померкнуло, он глубоко, в волнение задумался... Профессиональное чутье подсказывало ему: факт подделки чеков — сама по себе улика довольно серьезная, и здесь пахнет делом уголовным. Неизвестно, какую роль во всем происшедшем исполнял Айрат, а то ведь, вполне возможно, он будет объявлен соучастником. Если к тому ж ребята не раз уж пользовались под-

дельными чеками, взятые ими товары потянут на значительную сумму... Н-да...

Галиакберов, унимая дрожь в пальцах, набрал номер домашнего телефона начальника милиции, стал ждать, испытывая неприятное ощущение вины и униженности.

— Квартира Колесникова, — раздался в трубке звонкий детский голос, и он понял: это дочка отвечает... Спросил:

— Папа дома?

— Сейчас позову... Папочка, тебя!

Хорошо, что застал. А то пришлось бы мотаться, пороги обивать...

— Колесников слушает.

— Узнаешь, Сергей Тимофеевич? Я...

— А-а, Нурулла Рахманович! — вроде бы даже обрадовался начальник милиции. — А я вам раз позвонил, другой: нет и нет...

— За два года наконец-то выбрался на рыбалку, а тут, возвратясь...

— Рыбалка — это превосходно, — произнес Колесников, уже раздражая Галиакберова тем, что, отвлекаясь, затягивая, не приступает к главному в разговоре. — Однако у нас с вами служба... особенно у нас, милицейских... выкроишь ли время?!

— Там, понял я, что-то с моим сорванцом...

— Да, Нурулла Рахманович, — вздохнув (было слышно в трубке), подхватил Колесников. — Сын ваш, к сожалению, арестован моими сотрудниками...

— За что же? — дрогнул голос у Галиакберова. — Основания, значит, серьезные, если арестован?

— Пойманы на воровстве...

— Пойманы?

— Точно. Втроем. Дело такого рода... Подделывали чеки, чтобы получить товар...

— Колбасы, что ль, дома в холодильнике для них не было... подделывали, обормоты! Куда б еще не шло, если б с голодухи...

— Не в гастрономе, Нурулла Рахманович, в ювелирном магазине.

— В ювелирном?!

— Точно. Взяли чек в кассе, заплатив в общем счете пятнадцать копеек, а подделали на сумму сто пятьдесят рублей... Схвачены на месте преступления буквально за руку... Ардаширова помните?

— Какого Ардаширова?

— Да того самого... когда-то вы, в общем, процесс вели. Тоже подделка чеков! Вспомнили?

У Галиакберова запотели ладони; прижимая телефонную трубку подбородком к груди, он машинально вытер их о брюки, озелененные на коленях о траву во время рыбалки.

— Припоминаю вроде б. Вихрастый...

— Он самый!

— И что?

— Снова на Ардаширова вышли...

— Погодите-погодите... Ардаширов... и мой сын?

— Видите ль, Нурулла Рахманович, — Колесников опять медлил, мялся, подбирая, видимо, подходящие выражения. — Тут ситуация следующая... Не дважды два четыре — посложней! Ардаширов, мы уверены, выступал в роли подстрекателя. Точно. А ваш сын, Нурулла Рахманович... и другой паренек, по фамилии Малышев, они, пожалуй, оказались жертвами Ардаширова...

— Тогда в чем же дело?! — нетерпеливо перебил Галиакберов. — Если они жертвы...

— Это, с одной стороны, жертвы, Нурулла Рахманович. А с другой...

— Ну?

— Сына вашего задержали в тот момент, когда именно он пытался получить товар по подложным чекам.

Стремительная догадка пронзила Галиакберова... Во-от в чем дело-о!.. Некогда он осудил Ардаширова за подделку чеков, и теперь тот, выйдя из заключения, решил гнусным образом отомстить ему, впутав в такую же самую аферу его недотепу-сына. Айрат, как последний дурак, мокрогубый идиот, попал на крючок законченного преступника!

— Выходит, Ардаширов сунул поддельные чеки моему сыну, а сам ретировался?..

— Полагаем, что так. Нам, не скрою, изрядно пришлось повозиться с вашим сыном и с тем, другим... Малышевым... пока не установили личность Ардаширова. Они никак не хотят его выдавать...

— Но теперь, значит, установили?

— Да. Почти уверены, что с ними был Ардаширов и никто другой...

— Что кроется под этим «почти»?

— Нурулла Рахманович, вам ли объяснять! Почти — не до конца, а следовательно. По всем приметам, по почерку преступления — он, Ардаширов. Но пока это теоретически только. Сейчас усиленно ведем поиски...

— Кого?

— Этого человека... то есть Ардаширова.

— Странно как-то получается: то ли Ардаширов, то ли кто-то иной! — Галиакберов раздраженно хмыкнул. — Да дайте вы мне нашего сорванца — я у него в одну минуту выжму, кто этот прохвост...

Колесников — стало понятно Галиакберову — замылся. Помедлив, ответил неохотно и с виноватинкой в голосе:

— К сожалению, пока не имеем права, Нурулла Рахманович. Необходимые формальности, знаете же... А вдруг что-то большее за всем этим? Сговорились, допустим... Выпустим вашего сына с этим... с Малышевым, и случится какая-то непредвиденная неприятность? Осложнения всякие будут? С нас же, с меня первого тогда голову снимут! Точно. Ардаширов, известно, прошел выучку в преступном мире, можно ждать любой выходки от него, ни перед чем не остановится. Сами достаточно представляете, каков этот народец! В ваших же интересах, Нурулла Рахманович... поймите...

Галиакберов уже мысленно ругал себя за необдуманную, поспешную просьбу; ответил, стараясь казаться как можно бесстрастнее:

— Сергей Тимофеевич! Не так, возможно, расценили... э-э... слова мои. Не прошу я, чтоб сын в нарушение правил был освобожден из-под стражи... Нашалил, напакостил — пусть держит ответ! Но, Сергей Тимофеевич, я к тому... Ускорить бы все это, до ясности докопаться...

— Все, что в наших силах, Нурулла Рахманович! Вы, надеюсь, понимаете, что я... что, одним словом, я вас понимаю, Нурулла Рахманович!

— Кстати, Сергей Тимофеевич, кому это известно... насчет ареста?

— Пока только нам.

— В райкоме не знают?

Это вырвалось у Галиакберова само собой, произвольно. Ист, он никак не хотел задавать такого вопроса, но слово не воробей... И почудилось ему, что начальник милиции там,

на другом конце провода, явственно усмехнулся.

— Да нет, Нурулла Рахманович, ни в нашем райкоме, ни в горкоме пока не знают.

Покрывшегося уже краской тайного стыда Галиаберова вдобавок резануло не без значения вставленное во фразу Колесникова словцо «пока». Начальник милиции словно бы намекал: в тайне происшествие сохранить не могу — все равно придется доложить... И Галиакберов, не имея больше сил говорить, промычав невнятные извинения, бросил трубку на рычаги.

Рамзия, внимательно прислушивавшаяся к телефонному разговору, нетерпеливо спросила:

— Ну как, Нурулла? Что он сказал?

— Чего он должен был, по-твоему, сказать?! Сказал, что прекрасно воспитали сына!.. С твоих пирогов на черные сухари захотел...

Рамзия закрыла лицо ладонями. Слезы душили ее.

Галиакберов обнял жену за плечи:

— Не сердись на меня. Нервы... Такая неожиданность!

Рамзия не отнимала ладоней от глаз, не вытирала слез. Подумала вдруг, что муж давно, очень давно не обнимал ее вот так, мягко и ласково. Да только ли не обнимал! Она уже забыла, бывают ли нотки участливости в его голосе, обычно суровом, жестковатом. Разговаривал он с ней и с Айратом всегда с какой-то неуходящей хмуроватой озабоченностью, отрывисто, будто нехотя отвлекаясь от постоянно занимавших его важных дум, делая как бы одолжение жене и ребенку... Она незаметно для себя даже стала чувствовать непонятную вину перед

ним, мужем, с которым прожила почти два десятка лет, — вину, которой на самом деле не было, не знала за собой. Странно, однако, так...

И научилась оправдывать его! Перед собой, сыном... Не раз говорила Айрату, что у отца особенная должность, он судья, разбирает человеческие судьбы, решает, как с кем поступить, определяет меру наказания бандитам, вора́м, хулиганам, — вот откуда его всегдашняя не улыбочивость, вот почему он сух даже с ними, своими домашними! Служба накладывает отпечаток на человека. Как, например, всегда бывает подтянут и решителен в случае опасности офицер. Правда ведь?.. Но сын слушать слушал, однако нельзя было понять: согласен ли?

И когда однажды Нурулла заметил Айрату, что ему не нравится, что тот «таскает» в квартиру знакомых ребят, те толкнутся тут и в обед и вечером, а квартира — «не проходной двор», сын со скрытой дерзостью сказал:

— Действительно, я забыл, что мой отец не кто-то... судья!

С той поры никого уже к себе не приводил...

Она, Рамзия, с болью подмечала, что Айрат все больше уходит в свой сложный, непонятный ей, тревожный мир подростка, отдаляясь от нее, начиная относиться к отцу, как к человеку почти чужому, которого приходится признавать, уважать, но о любви к которому не может быть и речи... Материнской ласки он уже стеснялся, дружбы с отцом, нужной ему, взрослому мальчику, — не получилось. Ни дружбы, ни обоюдной привязанности. А к тому ж они оба, — и Нурулла, и она — постоянно на работе... на работе... на работе... У нее дежурства в больнице, консультации в районной поликлинике, наконец, самое главное, — хирургические операции.

Редко, чтоб всей семьей, втроем, дружно, как бывает у других, куда-то поехали, что-то затеяли, общее увлечение чтоб появилось... Нет-нет...

Видела Рамзия: у Айрата существуют какие-то привязанности там, за дверью дома, — в школе, на улице... Но какие? Замкнутый, ушедший в себя сын отвечал на ее расспросы неохотно, односложно, явно тяготясь материнским любопытством. Правда, иногда он, долго провозившись над каким-то рисунком, молча бросал его на стол перед ней — чтоб оценила, значит. И по настороженно поблескивающим глазам сына Рамзия понимала: очень хочет услышать, что она скажет! Но стоило ей с жаром, преувеличенно восторгаясь, расхвалить работу — Айрат, насупив густые, как у отца, брови, забирал рисунок и уходил из дома, к друзьям по улице, днями после не притрагиваясь к карандашам и краскам. И Рамзия догадалась: сын обостренно чувствует любую — даже малейшую — неискренность в словах, а показывая свои наброски, этюды — не похвалы он ждет, не умилительных восклицаний. Просто — чтоб сказали ему: это хорошо, нравится, а вот это, кажется, не удалось тебе... Тогда он после, как правило, приносил новый вариант рисунка — и тут уж можно было сказать ему одобрительные фразы, однако опять же спокойно, без ложных восторгов.

А что у Айрата способности к рисованию, живописи — сомневаться не приходилось. И учителя в школе об этом говорили, видя в ученике Галиакберове — подростке с замкнутым, неровным характером — будущего художника, уже сейчас удивляющего точностью и глубиной своих натуральных зарисовок. И во Дворце пионеров, куда какое-то время Айрат ходил в изокружок,

в нем души не чаяли: лучший среди всех по таланту! Когда он вдруг перестал посещать кружок — преподаватель, не поленившись, домой к ним пожаловал, упрасивал, чтоб родители повлияли на сына, обещая в скором будущем, через полгода-год, устроить во Дворце пионеров персональную выставку работ Айрата...

Но Айрат — как отрезал: не хочу, не пойду! То ли заленился — далеко ездить во Дворец пионеров, то ли по какой другой причине, — осталось тайной... Никакие уговоры и упреки не помогали. Пришлось Рамзии смириться. Когда же она сказала мужу, что тому бы все же следовало убедить сына, твердых, разумных слов отца Айрат, возможно бы, послушался, — Нурулла ответил:

— К куску хлеба насильно не тянут. Нет, выходит, у него потребности в занятиях живописью.... Пусть лучше на математику в школе поднажмет. А цацкаться с ним — ему же во вред...

Наверно, все ж не умела она доказать, объяснить мужу, что чувствовала сама: Айрат — единственный их ребенок — год от года незаметно уходит дальше, дальше... Куда? Во всяком случае, дальше от них... Вроде бы с ними, но сам по себе! А он же мальчик еще. В этом месяце, в июне, через неделю заканчивает восьмой класс. Шестнадцатый год всего.

А Нурулла — чуть что — твердил:

— Переходный возраст. Обломается — станет человеком. Мы в голоде, холоде росли — и ничего! А ему чего не хватает?

И вот сейчас он стоял за спиной, мягко положив руки на ее плечи, и спрашивал потерянным голосом, столь непохожим на тот, каким он обычно с ней разговаривал:

— Рамзия, как же могло такое случиться? У нас?! С нашим сыном?

Ей хотелось сбросить его руки с себя, гневно, глядя ему прямо в глаза, сказать всю правду, всю—как бы жестоко ни прозвучала она: «А разве я не убеждала тебя, что ты ведешь себя с Айратом так, будто это не твой собственный сын, а чей-то совсем посторонний ребенок, которого насильно посадили на твою шею?! Ты считаешь, что делаешь великое дело, осуждая преступников, восстанавливая справедливость, и тебе некогда заняться родным сыном: сыт, одет, учится... чего еще, да?! А он при живом отце растет как сирота — безотцовщина!»

Но ничего такого Рамзия не сказала. Не посмела. Она давно привыкла к тому, что, даже чувствуя свою правоту, лучше не перечить мужу. Что за дом, когда в нем споры или, не дай бог, скандалы? Ведь все равно Нуруллу не переубедишь. С первых лет их совместной жизни он как-то незаметно, однако непререкаемо, властно установил вот это: слово его — закон, поступки его — не подлежат обсуждению...

И она стояла неподвижно, глотая слезы, и кто бы только знал, сколько горечи было в них!

7

За окном привычно — в людских голосах и гуле машин — шумел летний день. Громко смеялись и возбужденно кричали во дворе подростки, гонявшие по асфальту футбольный мяч... Мог бы сейчас быть с ними и он—Айрат. О, какой острой, неизбывной любовью к сыну было наполнено сейчас ее, Рамзии, сердце! Как жалела она своего ненаглядного мальчика! Позволили б — сама, не задумываясь, села б за ту проклятую решетку, лишь бы освободили его...

Внезапная догадка вспыхнула в ней: Нурулла испугался... боится... не за сына — за себя!

Когда он наконец-то появился с рыбалки, стал звонить начальнику милиции, она на какой-то миг ощутила успокоение: Нурулла при его решимости и умении сделает так, что Айрат быстро вернется домой, все ее волнения и страдания покажутся если не смешными, то, конечно, преувеличенными... По пословице: у страха глаза велики! И они вместе потом посмеются над этим ее страхом...

Но вот муж переговорил с начальником милиции — и словно бы обмяк, как птица, у которой переломили крылья. На обычно непроницаемом лице его тень испуга... Да-да! Этот испуг и в его словах, обращенных к ней: «Рамзия, как же могло такое случиться?..»

Он боится за свою карьеру! Что его не выберут вновь в народные судьи... Вот откуда внезапная нерешительность, такая непонятная робость. Личная карьера ему дороже, чем судьба сына! И, наверно, если бы это был не сын, а скажем, она, жена его, — он так бы точно стучевался, прежде всего подумал бы о себе, своем так называемом авторитете... Не запачкаться бы, каким-то путем отгородиться, обелить себя... Не этим ли сейчас заняты его мысли? Ведь спросил же, забыв про гордость, знают ли в райкоме, что сын судьи Галиакберова угодил в милицию... И уже в самом этом вопросе униженный, трусливый трепет: ах, не просочился б куда не надо слух! Что тогда скажут о нем, судье Галиакберове?!

Рамзия кусала губы. Боже, какая низость!..

Нурулла, мрачно меривший шагами комнату — туда-сюда, туда-сюда, как маятник, — снова подошел к ней, остановился возле, опять поло-

жил руку ей на плечо. Она ощутила холод его пальцев и, не отдавая себе отчета, брезгливо отдернулась:

— Не прикасайся ко мне... ты!

Повалилась на кушетку, всеми силами стараясь сдержать накатывавшиеся рыдания. Если б Нурулла попытался ее успокаивать — она, скорее всего, наговорила б ему в запале много резких, ужасных слов, которых он никогда не слышал от нее... Однако Нурулла и не подумал утешать, уговаривать — пронзительно закричал он:

— Сейчас же замолчи, несчастная истеричка, не то я с тобой что-нибудь сделаю!

И этот его крик, как ни странно, подействовал на Рамзию отрезвляюще. Что она, действительно, навывдумывала?! Натура у мужа сложная, тяжелая, но разве когда-либо были у нее, жены, основания усомниться в его честности, добропорядочности, могла ли тем более хоть раз уличить его в эгоизме, подлости? Переживает он... И любой, окажись на его месте, переживал бы не меньше. А сама она? Со стороны бы кто взглянул...

— Извини, пожалуйста, — тихо промолвила Рамзия. — Как ты до этого сказал: нервы... Расслабилась. Не в себе.

Взяла со стола стакан, и он, отзываясь на дрожь, бился о ее зубы, выплескивалась вода...

Нурулла сказал хоть с нервозностью в голосе, но твердо:

— Не оправдывайся, ни к чему! Вообрази, что я трус, негодяй, готов принести на закланье собственного сына, лишь бы самому на ногах устоять, не покачнуться. Вот что ты подумала!

Он не спрашивал, верно ли понял ее состо-

ание, — он утверждал, не сомневаясь, что было все так...

— Да, я поинтересовался, знают ли в райкоме, — продолжал он. — Хотя, согласен, не стоило этого делать... Но, посуди сама, разве так уж хорошо, если об этом мелком случае станет известно всем-всем? Я судья, представляю закон, и мой авторитет... именно авторитет!.. должен быть на высоте. И удивляюсь тебе! Можно ль до такой степени терять голову из-за глупости дрянного мальчишки?! Что—на эшафот его завтра поведут? А тебе кажется, что я немедленно сломя голову должен куда-то бежать, что-то предпринимать, лишь бы скорее вырвать драгоценного сыночка из железных лап милиции... Ты мать, я понимаю... Однако кроме сердца природа дала нам разум. Ты человек с высшим образованием, кого-то воспитываешь в своем коллективе, кем-то руководишь, решаешь сложные производственные, общественные вопросы, от твоих рук хирурга, а значит, от твоего самообладания, твоей выдержки, часто зависит жизнь человека на операционном столе... опомнись, Рамзия. И не забывай, подчеркиваю, что я не просто отец шалопая, но прежде всего человек, сам причастный к правосудию, обязанный соблюдать его нормы и требования, как никто другой. Какой же повод дал бы я для кривотолков, если бы галопом куда-то помчался, заставил бы, пользуясь своим положением, чтоб сына немедленно выпустили? Если хочешь знать, только вчера я безо всякого смягчения вынес приговор сыну инженера Салихова—беспутному парню, совершившему преступление. А нам с тобой еще не известно, намного ль преступление инженерского сына тяжелее, чем то, в котором замешан наш Айрат...

При этих словах Рамзия вскрикнула и прикусила пальцы.

Постепенно Галиакберов успокоился. Однако присутствие рядом взволнованной, убитой несчастьем жены никак не давало ему сосредоточиться, и один вид ее заплаканного, с опухшими глазами лица рождал в нем невольное глухое раздражение. Она мешала ему. И в то же время он, конечно, понимал, что Рамзия сейчас нуждается в опоре, в его убедительных словах, в том даже, чтобы он находился возле, — и было бы грешно оставить ее в эти часы дома или, допустим, предложить ей самой куда-то пойти. Побежит к подругам, чтоб выплеснуть накипевшее в душе, поделиться горем, а тем — Галиакберов желчно усмехнулся — только того и нужно: новость такая — пальчики оближешь, сразу по своему «сарафанному радио» разнесут на весь город...

Галиакберов давно уверовал в непогрешимость своих суждений, считая, что он всегда и во всем следует правде и долгу чести. А поверив в это — он стремился как можно реже делиться с кем-то собственными мыслями, обсуждать собственные поступки и планы... И не потому ли у многих укоренилось мнение, что он человек скрытный и даже злой? Но вряд ли кто догадывался, какие тайные страсти и сомнения терзают Галиакберова, когда ему приходится принимать то или иное решение, каких мучений порой это ему стоит!

— Никогда, Рамзия, нельзя рубить сплеча, — сказал он жене рассудительным тоном, стремясь окончательно привести ее в «чувство». — Безвыходных ситуаций не бывает. Но прежде чем лезть в реку, надо узнать глубину воды... Недаром, наверно, я учился на юриста, двад-

цать пять лет работаю в этой области. Что-то, значит, вижу больше, дальше, чем, например, ты. Ведь не стал бы я давать тебе советов, как оперировать человека, какой сосуд пересечь, какой оставить, удалять опухоль или не трогать... Верно? Учитывай и ты особенности моей работы, моего положения, в конце концов! В том-то и сложность, что мой... мой сын вляпался. Приходится хлопотать за собственное чадо... Здесь необходимо и чтоб чисто юридический подход был соблюден...

— А что это? — спросила Рамзия беззвучными губами.

— А то, что придется решать дело строго юридически, чтоб никто потом не упрекнул. Выяснить обстоятельства, определить сумму содеянного преступления... И что хорошо: мое положение позволит провести это быстро и без лишнего шума, втихомолку, как говорится... Но — без юридических нарушений!

— По-твоему, их обязательно будут судить? — прошептала Рамзия.

— Ну почему непременно судить?! — Галиакберов поморщился, досадуя, что жена не в состоянии разобраться в азбучных, казалось бы, истинах. — Можно ль вообще так ставить вопрос, когда толком ничего не установлено. Вначале придется выяснять, что и как было... И я сам... лично... приму в этом участие. Но только так, чтоб не подумали, вроде б я беззастенчиво пристрастен...

Рамзия толком не поняла, что же муж имеет в виду, ссылаясь на необходимость вести дело «строго юридически», однако даже в этом чудилось ей нечто успокоительное; с внезапным теплым чувством она подумала: «Ему, конечно, виднее...» И хоть тревожное беспокойство все

же теснило грудь, Рамзия попробовала улыбнуться, произнесла примирительно:

— Мы, женщины, — трусихи. Извини, пожалуйста за... за мою вспышку.

Она вновь ощущала свою постоянную неясную вину перед ним, и это состояние настолько было ей знакомым, привычным, что, испытывая его, она вроде бы даже уютнее, спокойнее себя чувствовала...

А он с облегчением отметил: «Слава богу, улеглось...»

Мозг же Галиакберова в это время работал хоть лихорадочно, хаотично, однако в одном, уже заданном направлении. Надо было определить план действий! Разговор с начальником райотдела милиции все не давал ему покоя. Если такой хороший знакомый, как Колесников, со всеми его должностными полномочиями, ничего не мог сказать определенного, не обнадежил — дело, само собой, не мелкое, а серьезное, с неприятными последствиями... Уж он-то, Галиакберов, зубы стер на тонкостях своей профессии и отлично понимает: ссылка на бежавшего Ардаширова, который, мол, способен на любой шаг, — скорее отговорка, нежели истинная причина задержки в камере предварительного заключения Айрата и того, второго, — Малышева. Видимо, улики против его сына слишком солидны, имеется целый ряд таких свидетельств, что требуют тщательного, немедленного разбирательства...

Впрочем, как ни размышляй, как ни прикидывай, налицо зафиксированный факт: именно Айрат был задержан при предъявлении подложного чека, и хоть вполне очевидно, что пятнадцатилетний мальчик самостоятельно не догадается пойти на это, он был орудием в

опытных руках, — дело, в сущности, ничуть не меняется. К тому ж магазин не продуктовый или хотя бы промышленных товаров — а ювелирный! К ювелирному — особый счет...

Телефон зазвонил так резко и оглушительно, что Галиакберов не просто вздрогнул — подскочил на стуле, точно его врасплох застали в момент чего-то нехорошего... Покосился на жену, не заметила ли его испуга, но Рамзии не до мужа было: сама, в страхе притиснув кулаки к груди, так смотрела на аппарат, словно бы в неожиданном звонке таилось новое, очередное несчастье. Галиакберов снял трубку.

Женский голос был не просто взволнован — что-то умоляющее улавливалось в нем, какая-то надежда:

— Можно Рамзию Кадыргуловну? Только побыстрее, пожалуйста... очень нужно!

— А что, позвольте узнать, случилось?—собственный голос показался Галиакберову чужим.

— Это из больницы...

— Пожар, что ли, там у вас? — недовольно обронил в трубку Галиакберов, при этом все же вздохнув с облегчением. — Тебя, Рамзия... с работы.

Рамзия слушала—и лицо ее становилось напряженным. Ответила неуверенно:

— Но, Настенька, милая... не могу сегодня! Совершенно не в том состоянии я, чтоб операцию делать... и такую! Почему ж не Александр Филимонович?

Снова ей что-то возбужденно говорили, и Рамзия, зажав трубку ладонью, чтоб не услышали на другом конце провода, — с прежней неуверенностью сказала уже ему:

— Нурулла, как быть? Зовут оперировать. Тяжелый больной, медлить нельзя. А Александр

Филимонович, как на грех, повредил себе руку, не может. Больше никому. А я... какая я, видишь?

Ждала, что он скажет, будто на самом деле только от него зависело, как следовало ей сейчас поступить...

Галиакберову было ясно, что Рамзия, как хирург, отнюдь не в лучшей своей форме, и вряд ли ей стоит соглашаться, тем более что операция — не рядовая. Но, с другой стороны, эгоистическая потребность хоть на какое-то время остаться одному — подталкивала его к определенному ответу. В то же время он знал, что жена совершенно преображается в операционной, рука там у нее тверже, чем у иного мужчины, и в городе о Рамзии идет добрая слава, как о хирурге смелом и искусном. Он даже втайне гордился этим... Почему же не поверить в то, что и сегодня Рамзия, оказавшись в операционной, в знакомой обстановке, но овладеет собой, не будет такой, как всегда? В операциях она, по восхищенным признаниям ее коллег, удачлива, у нее среди них самое меньшее число случаев с летальным исходом... и, главное, если Александр Филимонович выбыл из строя, вправе ли вообще Рамзия отказаться?!

— Ты считаешь, что надо идти?—вполголоса допытывалась она. — Нурулла?

Он не сказал ей ни «да» ни «нет», а лицо его выражало: «Ну что ты спрашиваешь! Поступай, как находишь нужным».

Рамзия поднесла трубку ко рту: окрепшим, категоричным голосом сказала:

— Настенька, я буду. Готовьте все необходимое!

И вновь взглянула она на него, словно ища на его лице подтверждения: ведь правильно я

поступила? Но он сделал вид, что не замечает ее вопрошающего взгляда.

Через четверть часа Рамзия была уже готова.

Перед уходом поцеловала его в щеку, как целовала когда-то в юности, уходя куда-нибудь; произнесла проникновенно:

— Пожелай мне удачи. Что-то сегодня со мной... Айрат из ума не идет! Ты уж, пожалуйста...

Не договорила, но он знал, что она хотела сказать.

И он неожиданно для себя дрогнул сердцем. Что-то внезапно стронулось в нем, будто какая-то льдинка растаяла от горячей волны... И тоже впервые за много лет поцеловал жену у двери, слегка потерся щетинистой щекой о ее мягкую щеку. Рамзия улыбнулась, полузакрыв глаза, и легко, стремительно побежала по лестнице...

8

Галиакберов постоял у двери, прислушиваясь к затихающему стуку каблуков жены, пока не хлопнула другая дверь — открытая ею в подъезде, и не спеша вернулся в комнату. Вместе с желанным облегчением почувствовал вдруг тягучую, ломающую тело усталость. И не мудрено: в кои-то века, нарушив размеренный «сидячий» образ жизни, побывал на рыбалке, там за разговорами с другом ночью почти глаз не сомкнул, возвращался домой с надеждой вволю подремать на диване, — а тут на тебе! До сна ли?!

И все же он прошел в спальню, прилег, не раздеваясь, поверх одеяла на кровать. Однако лишь прикрыл глаза — в мозгу с бешеной

быстротой закружились обрывки каких-то недавних разговоров, осколки увиденного, завертелась, ускоряя свой сумасшедший бег, карусель всевозможных лиц и голосов, которые он мучительно пытался вспомнить... Галиакберов жестко тер виски ладонями, потряхивал головой, будто этим отгоняя пестроту видений, но избавиться от настойчиво несущихся к нему человеческих лиц не мог. Волей своей он старался прогнать их, подспудно же, помимо желания, цепко вглядывался в них, стремясь что-то... кого-то... отыскать. И наконец удивленно сказал себе: «Так это же я хочу из всех выбрать одного... Вспомнить точно, безошибочно того самого Ардаширова, которого судил за подделку чеков, имя которого теперь стоит рядом с именем моего сына!»

Действительно ли, как заметил в разговоре с Колесниковым, так сразу же представилось: Ардаширов — вихрастый? Почему-то назвал именно его — уже почти забытого им задиристого, нагловатого паренька с непокорными прядями пухлых волос, который во время судебного заседания отвечал дерзко и ему, и прокурору, и народным заседателям... Но ведь не один год прошел с тех пор! И надо, конечно, вспомнить, вспомнить! Тот ли, другой...

Не-ет, какой уж тут сон! Галиакберов поднялся с кровати; бродил из комнаты в комнату, думал... Ведь даже в том, что их Айрат находится в эти часы в КПЗ — было нечто противоестественное, нереальное даже. Вернее, не было, а воспринималось так им, Галиакберовым, — воспринималось, как событие, которое никак не могло произойти из-за ничтожной вероятности предпосылок к этому. Галиакберов убежден, что у Айрата мягкий, «от матери» характер, он тихоня, именно «маменькин сынок»; да еще с са-

мых ранних лет слыша в доме разговоры про суровость наказаний за всякого рода преступления, хоть понаслышке, но зная, что такое закон, — мальчишка просто не способен на отчаянные, с грозными последствиями поступки!

Галиакберов, если честно признаться, даже слегка недолюбливал сына — за то, что тот постоянно сторонился его, какая-то неуходящая настороженность и отчужденность подмечались в сыновьих глазах. Молча, с бесившим Галиакберова равнодушием принимал Айрат те мелкие подарки, что он, отец, делал по праздничным дням: новую авторучку, например, альбом с репродукциями картин известных художников, ласты и маску для подводного плавания, что-нибудь еще такое, что вызвало бы восхищение у любого мальчишки-школьника. Но Айрат равнодушно говорил: «Спасибо», — и никогда нельзя было понять, рад он, нет ли... Хотя — Галиакберов видел это — к матери сын относился с бóльшим доверием, с бóльшей теплотой. Иногда, в редкие свободные минуты, находясь в хорошем расположении духа, Нурулла Рахманович пытался заговорить с Айратом, узнать, как он учится, что читает, и кончалось это тем, что оба вскоре расходились по разным комнатам: отец — нахмурившись, недовольный, что из сына слова не вытянешь, тот не желает с ним говорить; сын же — довольный, кажется, что никакого разговора не состоялось. И в это же время Айрат свободно, легко отвечал на вопросы матери...

Галиакберов после долго и желчно упрекал Рамзию, что это, наверно, она воспитывает в сыне недоброжелательность по отношению к нему, отцу, иначе — как объяснить? Рамзия же, в свою очередь, начинала его упрекать: сам, дескать, поставил себя на отдалении от мальчика своей

чрезмерной сдержанностью, сухостью, тем, что безразличен к интересам, запросам, занятиям сына... То ты, мол, занят по горло, то приходишь уставшим, просишь, чтобы тебя не тревожили,— вот мальчик с детсадовского возраста и привык: от отца надо быть подальше, сам отец этого требует! Вначале привык, а повзрослев, вовсе утерять необходимость общения с отцом... Точнее—не понимает такой необходимости!

Наверно, в словах Рамзии заключалась частица правды. Галиакберову, во всяком случае, трудно было возражать жене. Однако должны же они, самые близкие ему люди, учитывать специфику его профессии! Да, он малоулыбчив, он постоянно сосредоточенно-серьезен, это, разумеется, не очень-то приятно для семьи, тяготит, но что поделаешь: такова жизненная судьба! Его, Нуруллы Рахмановича Галиакберова, судьба. Близкие обязаны это понимать.

Объяснишь ли даже ей, жене, какое мучительное чувство раздвоенности и сомнений испытывает он порой после вынесения приговора? Как не находит себе места, раздумывая над своим категоричным решением, когда вдруг покажется, что можно было поступить иначе! Кто бы только подсчитал, сколько бессонных ночей приходится на его долю... И лишь святая вера в справедливость законов, в то, что они приняты не для обсуждений, вольных толкований, а для точного соблюдения, исполнения, и он, судья, призван к этому,—лишь это помогает ему твердо сидеть в государственном кресле, не впадать в отчаянье и панику, как бывало с некоторыми слабовольными вершителями правосудия. Галиакберова, вспомнить, потрясла попытка самоубийства одного из знакомых ему судей. Тот, выяснилось, пошел на это после того, как через

много лет убедился, что двое обвиняемых, которым он вынес довольно жесткий приговор, которые по его «милости» попали в лагерь со строгим режимом,—оказались почти невиновными, заслуживали, возможно, самого минимального, условного наказания... И судья в угрызениях совести поднял на себя руку!

От ошибок никто не застрахован. Но если в других областях практических дел, в других, скажем так, службах ошибки или легко исправимы, или их удастся как-то затушевать, урон, нанесенный ими, можно восполнить чем-то другим,—то в суде такое невозможно! Он, Галиакберов, постоянно напоминает про это, выступая на совещаниях, проводя беседы-консультации с народными заседателями, членами товарищеских судов на предприятиях... На суде всегда глубоко затрагиваются душевные струны человека, его психика, чувства; на суде по существу дается направление дальнейшей жизни подсудимого: ему указывают ту обязательную дорогу, с которой он уже не вправе определенный срок свернуть. Вот почему важно скрупулезно и строго придерживаться требований и установок Закона, вот почему верным ориентиром и точкой опоры для судьи должно быть именно это—соблюдение Закона до каждой запятой, до каждой буковки! И если бы тот горемычный судья, что после казнился своим несправедливым приговором, не принял бы к ведению плохо, некачественно расследованное дело, не пошел бы на поводу самоуверенности, не нарушил бы каких-то обязательных пунктов и параграфов—трагедии бы не было. Ни для него, ни для тех, как потом с опозданием вскрылось, напрасно осужденных. Случай редчайший, однако поучительный!

А вообще-то—мысленно сказал сейчас себе Галиакберов—мы, судьи, всегда балансируем над пропастью... Айрат в силу своего возраста еще не понимает, какую ношу взвалил себе на плечи и самоотверженно несет его отец. Когда подрастет—оценит, возможно, всю невероятную ответственность отцовской профессии,—ответственность, в конечном счете, за судьбы людей, чья участь зависит от слова судьи, а точность, сила, непреложность этого слова измеряется аршином Правосудия...

Так думал Галиакберов, и то, что в размышлениях о своей профессии он незаметно для себя сбивался на некую торжественность, строй его мыслей как бы утяжелялся, окрашивался в особую значительность,—удивляться не следует. Просто Галиакберов очень любил свое дело, свою работу, не просто был предан профессии—относился к ней почтительно, и, не будет преувеличением сказать еще, что относился свято.

9

Короткий прохладный душ как-будто бы ослабил головную боль, и Галиакберов, который с самого утра ничего не ел, заставил себя выпить стакан молока. Аппетита не было... Поколебавшись, он снова набрал номер квартирного телефона Колесникова, и ответил ему тот же звонкий девчоночий голосок: «А папа на работе!»

Это обрадовало Галиакберова. Он моментально решил: если Колесников у себя на службе—надо пойти туда, в милицию, чтобы повидать сына и заодно поговорить с теми сотрудниками, кто занимается подростками, причастен к их аресту. Присутствие Колесникова будет

только на руку: не потребуется лишних объяснений и просьб.

Синева бездонного неба была яркой, чистой, всеохватной, она, казалось, легко обесцвечивала, растворяла в себе грозные дымы нефтеперерабатывающих заводов, подступавших к городу. Галиакберов, вдыхая затомившейся грудью свежий уличный воздух, невольно щурил глаза — и от этой небесной сини, хлынувшей в них сильным потоком, и от полыханья сочных зеленых красок, которыми были заполнены недалекие, видимые отсюда невысокие всхолмья, бульвары и скверы, бегущие навстречу медлительному шагу Галиакберова. Он не без удивления смотрел на раскидистые шатры тесно растущих деревьев, словно открывая их для себя впервые. В своей повседневной деловой суете и озабоченности прежде как-то не обращал внимания на то, что озеленение города ведется настойчиво, планоно, целеустремленно, оно в чьих-то любящих руках, и не будь этих ухоженных деревьев, тщательно подстриженных кустарниковых рядов, просторных и аккуратных газонов с густой травой и пестрыми вкраплениями цветов — каменные громадины города лишились бы свежести, красоты, давили бы на человека скукой и унылостью. Галиакберов, раздумывая над увиденным, пришел к мысли, что люди, как бы поодиночке значительны, умны, талантливы ни были — сами по себе они ничего не стоят, если не соблюдается обязательная, устоявшаяся в веках связь между ними, подразумевающая тягу друг к другу, чувства взаимности, доброты, уважительности, общности интересов, того, в конечном счете, что мы нынче называем духом коллективизма... Именно такую прекрасную связь между людьми можно,

пожалуй, сравнивать с этим зеленым чудом, когда живой растительный мир одушевляет и облагораживает каменный лик города, наполняет его дыханием и светом. Все во взаимосвязи, все в единении и общности!

Так, хоть на время освободившийся от горечи прежних дум, в легких, необременительных размышлениях, незаметно дошел Галиакберов до нового городского квартала, застроенного высокими коробками девятиэтажных зданий, на нижнем этаже одного из которых размещался районный отдел внутренних дел. У подъезда и распахнутых настежь ворот милицейского двора стояли желто-синие автомашины и мотоциклы.

Тут опять Галиакберов, ощутив укол в сердце, представил себе серые стены и зарешеченное окошко КПЗ — и как Айрат сидит там на нарах...

Колесников, по словам дежурного, был занят, к нему приехал майор из горотдела, беседуют они... Галиакберов, ожидая, медленно прохаживался по коридору, сдержанно отвечал на приветствия знакомых милиционеров, и неприятно было, что многие из них, конечно, знают, что его сын — в КПЗ...

Майор наконец вышел из кабинета, и вслед за ним Колесников появился в дверях; по его виду нетрудно было догадаться: куда-то спешит — по неотложному, наверно, делу... Увидев Галиакберова, он как-то замялся, смущенно и поспешно протянул ему руку:

— Нурулла Рахманович! Вот ведь оказия... А я должен уехать. Экстренный случай... происшествие...

— Что ж делать... понимаю...

— Но мы вот как поступим, Нурулла Рах-

манович! Я сейчас приглашу лейтенанта Биктимирова, который в курсе... прямое отношение имеет... И вы с ним обо всем подробно поговорите! Точно. Если захотите увидеть сына...

Он быстро, но цепко взглянул на Галиакберова, стремясь угадать, есть ли у того такое желание, и, убедившись в этом — закончил фразу:

— ...тот же лейтенант Биктимиров устроит вам встречу. Но только... извините, конечно, Нурулла Рахманович... должен просить вас...

Начальник милиции запнулся, не зная, как выразить свое условие, однако Галиакберов отлично его понял, ответил быстро и с достоинством:

— Можешь не беспокоиться. Не первый год...

— Ну да, естественно... знаю, уверен, — порозовел щеками Колесников; распахнул пошире дверь своего кабинета, пригласил: — Пожалуйста, Нурулла Рахманович, устраивайтесь как удобнее. Сейчас Биктимиров явится. Да, возможно, к концу беседы и я успею...

Галиакберов, входя, дверь за собой прикрыл тщательно, осмотрелся и, подумав, уселся в кресло начальника, за письменный стол. А то, поди, войдет этакий надменный лейтенантик — и начнет говорить с ухмылочкой на губах или, как с потерпевшим, чего доброго, сочувственно заглядывая в глаза! Ни того, ни другого он не потерпит... или мягче сказать: не вытерпит... да... С другой стороны: придется же выслушивать про сына, и каждое слово, каждый факт — будто камнем... по голове, по сердцу!

Минут через пять, постучав в дверь, вошел Биктимиров — еще совсем молодой человек с умным, внимательным лицом, строгой строевой

выправкой, которую не затушевывал даже штатский костюм. Он вежливо поздоровался и попросил разрешения сесть. Но именно подчеркнутая вежливость лейтенанта и серьезность выражения его глаз, за которой больше ничего нельзя было угадать, — не понравились Галиакберову. «От этого не знаешь, что получишь», — угрюмо отметил про себя. Спросил, прокашлявшись:

— Надеюсь, мне не надо представляться?

— Так точно, — бесстрастно ответил лейтенант. — Готов, как было приказано, ввести вас в курс дела.

— Буду очень признателен, — усмехнулся Галиакберов.

— Вы, предполагаю, знаете, за что арестован ваш сын Айрат Галиакберов...

— В общих чертах... Кто его арестовал?

— Я вместе с сержантом Бовчуком.

Это спокойное, как бы даже будничное признание произвело на Галиакберова сильное впечатление: вот передо мной человек, который, как говорится, схватил моего сына за руку! Хотя — что особенного-то? Не этот, так кто-то другой сделал бы...

— М-да, — протянул Галиакберов неопределенно. — Ну и как же было все?

— Тут можно рассказывать долго, товарищ судья, и можно в нескольких словах...

— Само собой, покороче! Самую суть.

— Тогда, видимо, не обязательно объяснять вам, кто такой Ардаширов, которого в свое время судили...

— Понятно... Дальше...

«Ардаширов, Ардаширов... — Галиакберов раздражался. — Послушаем, однако, что знаете!»

— Наказание Ардаширову, помните, было довольно суровым — четыре года колонии! Ардаширов подает жалобу в Верховный суд, который сокращает ему срок наполовину. Когда решение суда должны уже были сообщить в колонию, Ардаширов, сблизившийся с одним из заключенных, матерым вором, совершает побег из зоны. Его тут же задержали, и срок заключения, сниженный Верховным судом, вновь был увеличен. Но через год за примерное поведение срок опять сократили, и Ардаширов вышел на свободу...

«К чему эти нудные... издалека... подробности? — стараясь всячески сдерживать все больше разрастающееся раздражение, думал Галиакберов. — Для чего они?» Тем не менее был придирчиво внимателен к каждой фразе лейтенанта, стремясь не встречаться с ним взглядом, не выявить своего нетерпения.

— На свободе Ардаширов пробыл недолго. Встретился с тем самым опытным вором, что склонял его к побегу, и вновь подпал под его влияние...

— Как понимать — «вновь»?

— Дело в том, что первое свое преступление — подделку чеков — он тоже совершил, подстрекаемый взрослым, опытным преступником...

Галиакберов прикрыл глаза, слушал теперь, уставившись в одну точку стола. Многое внезапно вспомнилось ему!

— Ардаширова осудили вторично. Но в лагере он являл собой образец старания, дисциплины, активности... так что снова был выпущен досрочно. Естественно, что после его возвращения в город мы, товарищ судья, установили наблюдение... Вел себя Ардаширов хорошо, ни-

каких нареканий, подозрений его поведение не вызывало. Устроился работать на стройку, не без нашей помощи, замечу, хотя сам Ардаширов об этом даже не догадывался...

Следя за рассказом лейтенанта, Галиакберов, который считал себя отменным физиономистом, людей, как ему казалось, определял с первого взгляда, кто из них чего стоит, — никак все же не мог решить, что же кроется за внешней бесстрастностью этого сотрудника милиции. Из молодых да ранний? Уставной служака, хитрый, тонкий подхалим или, наоборот, добросовестный работник, дельный и честный человек?

Никак не мог решить — и от этого начинал даже испытывать тревожное волнение...

Биктимиров меж тем продолжал:

— Вдруг стало известно, что Ардаширов появляется в компании двух парнишек. Вначале это участковый инспектор приметил. Нас, естественно, насторожило. Выяснили фамилии ребят. Один из них, оказалось, Малышев... из очень неблагополучной семьи... другой же, товарищ судья, ваш сын...

Галиакберов машинально кивнул, тут же рассердившись на себя за это. И вдруг почему-то припомнился ему инженер Салихов, сына которого судили вчера, в пятницу. Припомнилось, как сидел инженер, сгорбившись, боясь поднять пылающее лицо, порой машинально кивая, словно соглашаясь с упреками, звучащими в речи судьи, и он, Галиакберов, не испытывал тогда к нему, Салихову, ни сострадания, ни жалости. Он был убежден, что половина вины за отвратительные поступки сына лежит на нем, старшем Салихове, отце, и что значил стыд того — багровое лицо, сгорбленная спина — пе-

ред степенью вины?! А сейчас Галиакберов вдруг ясно представил, какие же душевные муки, должно быть, испытывал на судебном заседании Салихов, как переживал, страдал, — и эта мысль почти потрясла его, понадобилось какое-то время, чтобы овладеть собой.

По-прежнему ровно, хорошо поставленным голосом вел свой рассказ лейтенант Биктимиров:

— Мы, товарищ судья, уточню, не задавались целью вообще следить за Ардашировым, однако некоторые обстоятельства вынуждали...

— Простите меня, лейтенант, — сказал Галиакберов. — Это уже настряло в ушах: Ардаширов, Ардаширов...

— Я понимаю: вас, товарищ судья, больше интересует эпизод с задержанием...

— Меня прежде всего интересует, почему не задержали Ардаширова, — жестко отпарировал Галиакберов.

— Видите ль, товарищ судья, Ардаширов прошел определенную школу... Предполагаю, он чувствовал, что под колпаком... извините, что следят за ним... и в самый решающий момент как сквозь землю провалился!

Галиакберов даже крикнул от возмущения:

— Чер-те что! Сколько знаю, все у вас уходит в самый решающий момент!

Лейтенант чуть громче, чем до этого, сказал:

— Позвольте не согласиться, товарищ судья.

И тут же, в секунду, погасил вспыхнувший было огонек обиды в невозмутимых своих глазах.

— Та-ак... Следовательно, главный зачинщик провалился, по вашему образному замечанию, лейтенант, сквозь землю; а его жертвы — наивные мальчишки — схвачены с поличным...

— Во всем еще надо разобраться, — уклончиво произнес лейтенант Биктимиров, чем вызвал новый прилив глухого раздражения у Галиакберова.

— Вы намекаете, что, возможно, Ардаширов сбоку... сами мальчишки... так, что ли?

— Нет, почему же... Определенное влияние Ардаширова тут, считаем, налицо. Но дело требует расследования в деталях. Мы не можем строить его на одних догадках или движимые симпатиями и, наоборот, антипатиями...

— Спасибо, лейтенант, что разъяснили, — усмешка скривила губы Галиакберова. — У вас юридическое образование? Что ж, чувствуется, не зря учили вас... Если не секрет, как же хотите построить расследование?

— Считаем необходимым свести их втроем: Ардаширов, Малышев и... и Галиакберов Айрат. Без Ардаширова, товарищ судья, любое расследование если не бессмысленно, то, во всяком случае, будет неполным, односторонним.

— Когда же сведете?

— Когда отыщем Ардаширова.

— Ах, вон оно что! За самым малым дело, да, лейтенант? И когда же предполагаете найти его, Ардаширова?

— Скоро, — уверенно отозвался Биктимиров. — Далеко не убежит.

— Ну а что же эти... эти двое? Как они себя ведут?

— Очень непонятно, товарищ судья. Или очень напуганы. Мести, возможно, опасаются. Или что-нибудь другое...

— Что же, например?

— Не исключается сговор... клятвенное обещание, допустим.

— Молчат?

— На откровенность трудно вызвать, товарищ судья.

— Мне можно будет увидеть сына, лейтенант?

— Так точно. Мне приказано, если будет с вашей стороны такая просьба, устроить свидание. Пойдемте со мной!

«Просьба! — кровь ошутимо прилила к щекам Галиакберова. — В каком я положении... и приходится...»

10

Айрат вышел к нему испуганным. Конечно же, он знал, что такой встрече быть, — и мучился, переживал в ожидании ее... Глаза на похудевшем лице запали, подбородок заострился, щеки утратили мальчишеский румянец, стали бледными, — и это за каких-то два дня! Галиакберов вдруг почувствовал прилив сострадательной жалости. Боже мой, сын, его родная кровь, стоит перед ним, как чужой перед чужим, настороженный, будто загнанный в угол зверек, которому нет спасения...

Галиакберов с трудом подавил в себе это чувство естественной родительской жалости, вызванное видом несчастного, нуждающегося в защите, помощи ребенка, — и постарался казаться спокойным.

— Ну, здравствуй, сын, — сказал он. — Присаживайся. Выкладывай, как все было...

Голос его прозвучал глухо, надтреснуто.

Айрат не ответил. Только совсем низко опустил голову и не поднимал ее в течение всего разговора.

Впрочем, был ли разговор?! Слова из Айра-

та нужно было вытягивать клещами, и лишь когда Галиакберов сердито заметил, что он, сын, по-видимому, задумал свести мать в могилу, та места не находит, исстрадалась, исплакалась, узнав про сыновий преступный поступок, — Айрат резко поднял еще более побледневшее лицо, торопливо, бессвязно заговорил:

— Ничего я не задумал... Я преступления не совершал... Я помочь хотел, только помочь...

— Кому хотел помочь? — живо спросил Галиакберов, обрадованный, что сын бросил ему конец поводка, по которому можно будет добраться до главного, распутать все. Но Айрат, вроде бы спохватившись, что проговорился, опять замолчал. По-прежнему сидел с низко склоненной головой, иногда вздрагивая всем телом, и эта дрожь, овладевшая сыном, вызывала у подметившего ее Галиакберова приступы неясной боли.

— Ардаширов заставил вас подсунуть продавцу подложные чеки? Ну скажи, Айрат, скажи, сынок, — так было? Он заставил? Это очень важно... Ардаширов угрожал вам, — так, что ли? Ты обязан мне сказать, сынок...

Увы, вопросы взволнованного Галиакберова разбивались об упрямое молчание Айрата. Ни на что он не ответил: кто зачинщиком был; зачем лично ему, Айрату, понадобились ювелирные товары; часто ли встречались с Ардашировым и куда он исчез в тот злополучный момент, когда они с Малышевым были задержаны милицией...

И догадывался Галиакберов, что не поддающийся его уговорам Айрат — лишь звено в каком-то непонятном заговоре молчания! Нет-нет, не в мальчишеских шалостях дело, оно, скорее всего, таит в себе много такого, что вряд ли

легко — без подробного, грамотного следствия — вскрыешь... И это уже по-настоящему пугало Галиакберова.

Тем более что он проникательно видел: хоть молчит, упорствует Айрат — а ведь ему страшно здесь, в милиции, ему не хочется возвращаться назад в камеру предварительного заключения! И знал хорошо Айрат: расскажи он откровенно обо всем отцу — тут же все обойдется как нельзя лучше, вместе они отправятся домой. Страшно было ему и знал он... однако признаваться не желал!

«Не доверяет, — мрачней, подумал Галиакберов. — Не нужен я ему, как защитник... не хочет моей помощи... моего сочувствия...»

Битый час просидел он со своим строптивым и одновременно жалким по всему своему виду сыном, ничего толком не выяснив, не добившись... Когда Айрата увели обратно в камеру, Галиакберов не сразу мог подняться со скамьи и выйти из тесного фанерного закутка, выкрашенного безрадостной фиолетовой краской, в котором происходило их свидание. Мог ли он когда-либо представить такое, что происходит сейчас? Что происходит с ним самим, с сыном, с их семьей? Всегда уверенный в себе, в том, что делает, он вдруг ощутил себя беспомощным, слабым человеком.

Во дворике милиции, совсем разбитый, опустошенный, нечаянно наткнулся взглядом на застекленную газетную витрину, и даже вздрогнул, тут же отвернувшись: с газетного листа смотрел его собственный портрет, обрамленный колонками строчек, расхваливающими судебскую деятельность Нуруллы Рахмановича Галиакберова...

Кто-то окликнул.

Из подъехавшей машины выпрыгнул Колесников; говорил, приближаясь:

— Вы еще здесь? А мы, видите, малость подзадержались. Дела-дела... Что — побеседовали?

Подойдя вплотную, увидев, наверно, как за время его отсутствия изменилось у судьи лицо, — спросил встревоженно:

— Что-нибудь случилось, Нурулла Рахманович?

Галиакберов пожал плечами, чуть усмехнулся:

— А вы считаете, что ничего не случилось... для меня?

— Извините... разумеется... — покраснев, пробормотал начальник милиции. — С Биктимировым — как?

— А что? Ясного пока нет...

— Да-а... С сыном поговорили?

— Если это можно назвать разговором.

Колесников нахмурился, пробормотал:

— Воды в рот набрали. И Ардаширов еще не взят...

— Вот именно.

Помолчали.

Колесников вдруг оживленно, как бы радуясь внезапно принятому удачному решению, сказал:

— А знаете, Нурулла Рахманович, забирайте-ка сына домой! Пусть побудет под домашним присмотром, пока выясняем... Точно! Потом, само собой, придется потаскать его сюда, будем вызывать... А сейчас забирайте!

Галиакберов покачал головой:

— Нет, Сергей Тимофеевич, не выход. Айрата, значит, выпустите... из-за уважения, так сказать, ко мне... а другой, Малышев, останется

в КПЗ. Я уверен, что мой сын ни за что не пойдет на такое. Знаете ж, как у ребят сильно товарищеское чувство...

— Что верно то верно, — вздохнул Колесников. — Тогда остается одно: как можно быстрее отыскать Ардаширова. Отлеживается где-то... Но нащупаем!

Галиакберов, видя, что начальник милиции спешит, у дверей, нетерпеливо поглядывая на них, поджидают его давешний майор из горотдела и еще кто-то в штатском, с пухлой папкой под мышкой, — подал Колесникову руку, попросил:

— Сергей Тимофеевич, только одно... держи меня, пожалуйста, в курсе...

— О чем речь, Нурулла Рахманович! Обязательно.

11

Возвращаясь домой, Галиакберов шел по оживленным улицам, всецело занятый своими невеселыми думами, не замечая уже ничего вокруг. Перед глазами маячило осунувшееся лицо сына, и Галиакберов почти физически ощущал то горе и отчаянье, что могли сейчас владеть Айратом. Так, словно бы переживания сына незаметно переселились в него самого. Переселились, утяжеляя его собственные... Да, сын в беде. И он, известный в городе судья, уважаемый в органах правосудия работник, ничем не мог ему помочь. Сразу. Быстро. Чтоб отсечь возможные неприятности в будущем...

Вспомнил, что Рамзия в эти часы должна была делать срочную операцию: как-то у нее дела? Ушла в подавленном настроении; и хоть улыбнулась на прощанье, попросила: «Пожелай

мне удачи...» — в глазах ее он видел печаль и боязнь.

Мысль о том, чтобы скорее добраться до кровати, отдохнуть, привести нервы в порядок, моментально была забыта. Галиакберов отыскал в кармане двухкопеечную монету, забежал в телефонную будку, набрал вначале номер домашнего телефона. Долгие гудки... Никак не мог вспомнить, как же звонить Рамзии на работу. Узнать через справочную? Но ведь больница рядом, чуть ли не за углом: не лучше ли забежать туда, и если Рамзия там, освободилась, — вместе пойдут домой? Правда, за многие годы он всего один раз, и то случайно, заглядывал в рабочий кабинет жены, забыл уже, в какую дверь большого корпуса входить... Однако разберется!

И повернул к больничному городку...

В коридоре нижнего этажа хирургического корпуса было безлюдно, сильно и специфично пахло лекарствами. Перед входом в операционную сидела на стуле пожилая нянечка в белом халате, такой же белой косынке, — что-то вязала, ловко перебирая спицами.

— Вам кого? — сердито спросила она. — Тут разве разрешено разгуливать-то... без халата еще!

— Никто меня при входе не остановил, — развел руками Галиакберов, — прошу прощения... Только подскажите: Рамзию Кадыргуловну могу увидеть?

Женщина внимательно посмотрела на него, силясь, наверно, угадать, зачем этому посетителю понадобился хирург, — и ответила с неохотой:

— У Рамзии Кадыргуловны была операция, недавно закончилась. Ушла Рамзия Кадыргуловна.

— И как?

— Что?

— Операция — как?

Она, видимо, уловила в его голосе что-то такое, что заставило ее насторожиться; проговорила с запинкой:

— Н-не знаю... У врачей спрашивайте.

«Считает, что я родственник больного», — догадался Галиакберов. Сказал поспешно:

— Я муж Рамзии Кадыргуловны. Мне нужно ее видеть.

И тут Галиакберову показалось, что пожилая нянечка чего-то испугалась. Если не испугалась, то, во всяком случае, сильно смутилась. Привстала со стула, заговорила быстро и вроде бы одного желая — чтоб скорее ушел он:

— Час назад операция закончилась. Даже не знаю, куда потом подевалась Рамзия Кадыргуловна... Она ж нам не докладывает. Не вызывайте. А вообще-то я ее видела на территории, на лавочке... Извините, мне убраться...

И женщина, загребая толстыми, обутыми в шерстяные носки и оуконные тапочки ногами, засемила прочь — в глубину длинного коридора.

Смутное чувство новых неприятностей коснулось сердца Галиакберова. «Неужели неудачно прооперировала? Только этого еще нам не хватало! Где же искать ее?»

Двор больницы — широкий, просторный, разбит на аллеи, и много в нем уютных зеленых островков, где в тени деревьев стоят крашенные в разные цвета скамьи на тяжелых чугунных подставках. Галиакберов, переходя с дорожки на дорожку, всматривался во встречаемых, но это были в основном «ходячие» больные или те, кто пришел их навестить; лишь из-

редка мелькала белая одежда медперсонала... Он уже собрался было прекратить поиски, как вдруг заметил возле котельной, за густой живой оградой из кустов сирени, одинокий женский силуэт. Пригляделся... Женщина, ссутулив плечи, обхватив лицо ладонями, сидела на низенькой, кем-то наспех сколоченной скамеечке... Рамзия?! Белый, как у других, халат, белая шапочка, пряди черных волос, выбившихся из-под нее...

Галиакберов торопливо пошел туда.

Да, это была она, Рамзия.

Сомнений не оставалось: операция закончилась драматично. Об этом кричала вся фигура жены — сгорбленная, жалкая, поникшая...

Галиакберов неслышно приблизился и тихо, без слов, подсел на скамейку. Рамзия какое-то время недоуменно, будто не угадывая, смотрела на него и вдруг, сотрясаясь от внезапных рыданий, бросилась ему на грудь. Рыдания душили ее, становились все глубже, все сильнее... Галиакберов растерянно успокаивал, бестолково озираясь по сторонам: то ли надеясь на чью-либо помощь, то ли, наоборот, боясь, что кто-нибудь увидит их... Видимо, его неожиданное появление здесь, в больнице, стало толчком для столь бурного выхода накопившихся у Рамзии чувств, и как ни пыталась она справиться с собой — удавалось ей это кое-как; много времени прошло, прежде чем она подняла голову, взглянула на него туманными, полными слез и безысходности глазами.

— Нурулла!..

— Хватит, хватит... вот платок — утрись.

Заметил Галиакберов: свернув с аллеи на слабо протоптанную тропинку, идут к ним люди — рослый широкоплечий мужчина и три

женщины, все в белом, врачи, скорее всего. Вид у них был встревоженный.

— Рамзия, возьми себя в руки... народ же!

— Да, Нурулла...

Четверо в белых халатах подошли к ним, и женщины сразу же принялись утешать Рамзию, хотя она уже сумела овладеть собой — лишь краснота лица и подрагивающие губы выдавали ее состояние. А мужчина с первых же своих слов обращался к нему, Галиакберову, словно давно его знал или, во всяком случае, не сомневаясь, что он приходится Рамзии близким человеком.

— Это был абсолютно безнадежный больной, — говорил он. — У больного все внутренности были буквально перелопачены, истерзаны тракторными пусеницами. Сам Вишневский не смог бы собрать из тех обрывков что-то нормальное... что-то человеческое! Клянусь!..

Он наконец обратился к Рамзии, молитвенно сложив сильные руки на груди:

— Рамзия Кадыргуловна, голубушка, отбросьте всякие угрызения... Возбуждены — и поэтому... Там впрямь наша хирургическая помощь была уже не только запоздалой — бесполезной! Успокойтесь. Поезжайте домой, отдохните. Машина у ворот — пойдемте...

12

Ночью у Рамзии был сильный жар, она металась на постели, не одеяло — даже простыня казалась ей тяжелой, давила, она сбрасывала ее на пол; и Галиакберов порывался вызвать «скорую». Но Рамзия умоляла: «Не надо... ни за что!» Она боялась, что ее тут же увезут в

больницу... она будет в палате... Нурулла один в квартире... Айрат там, в милиции... нет-нет!

Заснула она лишь перед утром, когда Галиакберов заставил ее кроме таблеток выпить большую кружку горячего чая с прессованной смородиной, что присылали им из деревни. Хорошее средство — густой чай с такой смородиной...

И воскресенье тянулось, как в чаду.

Рамзия хоть не заговаривала об Айрате — ее молчание было тяжелее всяких слов. В нем таились и жгучая тревога, и нетерпение, и тяжелый укор ему, отцу, за бездействие. Он рассказал о вчерашнем посещении райотдела милиции, но разве этот рассказ мог внести какое-то успокоение? Пожалуй, беспокойство Рамзии, наоборот, усилилось: сын не пожелал говорить с отцом, он не хочет никакой помощи с их стороны!

И Рамзия в какой уж раз принималась упрекать мужа за то, что он отказался от предложения Колесникова — не забрал Айрата домой... А когда он кое-как, терпеливо доказывая, убеждая, заставлял ее все же поверить, что нельзя было уводить Айрата из милиции, — Рамзия вдруг начинала говорить о своей вчерашней операции, о том, в каком состоянии привезли в больницу попавшего под трактор человека, как она старалась — и ничего не вышло... У Галиакберова голова кругом шла, он тайком глотал анальгин, то и дело ходил к крану — умывался холодной водой. С каким удовольствием уехал бы он сейчас куда-нибудь, к чертям на кулички, в ту же командировку, например, — лишь бы оказаться подальше ото всей этой нервотрепки! Но... будут просить поехать — и не дашь согласия. Куда уж тут!

Не часто, но все же трезвонил телефон: знакомые с запозданием поздравляли его с очерком в газете, и он должен был благодарить, о чем-то разговаривать, что-то выслушивать... Видимо, слух об аресте Айрата еще широко не распространился — никто из звонивших ничего ему про сына не говорил, не спрашивал. Галиакберов хотел выключить аппарат, однако подумал: а вдруг у того же Колесникова возникнет необходимость связаться с ним, что-нибудь узнают в милиции? Лучше потерпеть...

В конце концов, где-то уже к полудню, Рамзия вроде бы стала спокойнее; устало лежала на кровати, молчала. На его вопросы отвечала односложно, явно не расположенная к разговору; и он, чувствуя облегчение, охотно оставил ее в покое.

Никак не мог Галиакберов отделаться от настойчивой, засевшей в нем, как заноза, мысли: почему же все-таки он, всегда уверенный в себе, сильный человек, никогда ни в чем не сомневающийся, с твердой жизненной линией, устоявшимися убеждениями, завоевавший авторитет в обществе, — почему же он пребывает сейчас в таком странном, необъяснимо жалком положении?

И из-за чего?!

Из-за того, что вдруг нашкодил его несовершеннолетний сынок, по дурости угодил в милицию?

Какая, в сущности, мелочь! Если подумать, разобраться... Что значит такой нелепый случай перед его двадцатипятилетней безупречной службой на юридическом поприще? И разве может... разве должен какой-то ничтожный и бессмысленный факт стать поводом для таких глубоких переживаний, для такого кошмара,

под впечатлением которых он находится вторые сутки?

Размышляя подобным образом, Галиакберов разозлился — и прежде всего на себя: за то, что поддался унынию, расслабился, распустил нервишки... Посмотрев на задремавшую жену, он наскоро оделся, тихо, на цыпочках, боясь, что Рамзия окликнет, помешает, вышел за дверь. Этот воскресный день, будь он неладен, словно резиновый — тянется, тянется, и конца не видать. Скорей бы уж понедельник наступил: закончится изматывающее душу безделье, а с ним — уверен был Галиакберов — исчезнет вся та неясность, зыбкость, расплывчатость, в которой он незаметно оказался, барахтается, едва ли не совсем увяз...

Старушки, плотно сидевшие на скамеечке у подъезда, поздоровались с ним преувеличенно ласково, не просто смотрели вслед — прожигали взглядами, чудилось, насквозь. Он уходил, унося на спине эти острые, колющие взгляды... Тут, на скамеечке, перемываются косточки всем жильцам дома, все под прицелом у старух, и, конечно, старухи уже пронюхали, что с Айратом, где он! Шепчутся теперь: «Других судит — а сына своего будет судить?!»

Галиакберов, сворачивая за угол, сплюнул с досадой...

Решил, что пройдет по окраинным улицам, тихим и немногочисленным; поразмышляет неторопливо и в одиночестве... Всплывала в сознании, звала к себе эта фамилия: Ардаширов.

Как ни напрягал память, не мог в подробностях вспомнить дела Ардаширова, и самого обвиняемого, каков он, тоже отчетливо и бесспорно не припоминал. Что рыжий, вихрастый — надо еще уточнить. Возможно, другой... Ведь то

было одно из самых рядовых, ничем не примечательных судебных заседаний; их в его будничной судебной работе — сотни! Но вот приговор...

Когда лейтенант Биктимиров стал вчера рассказывать ему про Ардаширова — он, Галиакберов, неожиданно вспомнил вот что... Именно при разборе на суде дела о фальшивых чеках, когда выносился приговор несовершеннолетнему преступнику, произошло неприятное столкновение с адвокатом Байназаровым. Сейчас Галиакберов из-за давности происшедшего был не в состоянии точно и в деталях воспроизвести тот спор с защитником, но кое-что, оказывается, крепко врезалось тогда в сознание и хоть обрывисто, клочковато, но вырисовывается нынче.

Что же?

Адвокат Байназаров из кожи, что называется, лез, чтобы отстоять подсудимого, оградить его от приговора, которого требовали определенные статьи Кодекса. Уже после процесса у них произошел мимолетный — на ходу — разговор. Он, Галиакберов, заметил Байназарову:

— Вы выглядели на суде не столько как адвокат, а, удивляюсь я, как опекун какой-то... Будто главное в том, мягче или строже будет приговор... а не само существо дела главное?

— А вы что, полагаете, степень приговора никак не влияет на судьбу шестнадцатилетнего мальчишки? — не скрывая гнева, спросил Байназаров.

— Если непременно хотите знать, то я полагаю, что приговор станет вашему подзащитному хорошим уроком на будущее! Так сказать, профилактическим средством, которое пойдет толь-

ко на пользу. И вам, считаю, следовало быть именно адвокатом, юристом, а не опекуном...

— А вам... вам... — распаляясь, воскликнул Байназаров, — вам надо быть, как надлежит, судьей, а не холодным палачом!

И громко, демонстративно хлопнул дверью...

Это, разумеется, переходило все границы. Галиакберов вначале даже хотел поставить на коллегии вопрос о поведении адвоката Байназарова, дав там свои толкования понятию «палач», услышанному им, судьей, от Байназарова,—и адвокату, конечно, крепенько б досталось, получил бы он «на мундир» пятнышко, которое трудно было б свести... Однако, поостыв, Галиакберов решил промолчать. Рассудил, что Байназаров выкрикнул оскорбление в запальчивости, растревоженный, скорее всего, воспоминаниями о собственном тяжелом, безрадостном детстве, проходившем под унижительной, деспотичной властью отца-пропойцы. Вся деревенька знала, как опустившийся злобный человек измывается над женой и детьми, но никто не помог, не вмешался вовремя. И в один из пьяных, буйных отцовских разгулов пятнадцатилетний Акрам Байназаров—в ослеплении, близком к состоянию невменяемости, — поднял на отца руку, ударил его обухом топора по голове. С того дня отец стал инвалидом, а Акрам предстал перед судом...

Мало кто уже помнил про эту давнюю, нашу-мевшую в свое время историю, и совсем немногие знали, что тот, доведенный до отчаянья деревенский подросток, вскинувший топор на отца-садиста, и пользующийся доброй славой в городе адвокат Байназаров — одно и то же лицо. Галиакберов помнил и знал...

Байназаров улавливал непонятную снисходительность к нему в поведении судьи—и она дей-

ствовала на него угнетающе. Он избегал встреч с Галиакберовым и, по слухам, не раз отказывался вести защиту на процессах, которые вел Нурулла Рахманович. Это ничуть не трогало Галиакберова, даже по-своему забавляло... Что ждать от адвоката, который видел небо «в клеточку», которого самого держали под конвойной стражей?! Поэтому-то байназаровское слово «палач» не задело его так сильно, как должно было бы задеть любого другого человека, сидящего в высоком судейском кресле. Он находился в убеждении, что мягкотелость, излишняя сентиментальность, всепрощенческая доброта Байназарова (именно так Галиакберов квалифицировал «комплекс» адвоката!) объясняются его прошлым, пребыванием в колонии для несовершеннолетних, что, несомненно, бросает свой умолимый отсвет на все теперешние поступки адвоката, на всю его деятельность... И, прогуливаясь сейчас мимо незнакомых деревянных домиков, отгородившихся от уличной пыли палисадниками с кустистой зеленью, Галиакберов вдруг необычайно ярко представил лицо Байназарова— в тот момент, когда он бросил ему оскорбительную фразу... Лицо Байназарова было искажено тогда гримасой настоящей злобы! Или даже ненависти, которая зеленым блеском полыхнула в сузившихся глазах, пунцовыми пятнами обозначилась на затвердевших скулах адвоката... Все это в тот миг Галиакберов видел секунду, две, не больше, потому что Байназаров тут же выскочил за дверь,—но не забылось! Нет... И вот сейчас, восстанавливаясь, обретая законченность, определенную направленность, та сцена медленно, как в затяжном кадре, проплывает перед Галиакберовым; он внезапно понимает: адвокат Байназаров не просто был озлоблен при-

говором — он вообще ненавидит его, Галиакберова, и ненавидит именно за непримиримость, за сурово соблюдаемую им линию самой беспощадной борьбы с правонарушениями! Вот откуда это — «палач»!

Галиакберов поежился, будто повеяло на него неприятным сквозистым холодком... Никогда до этого он толком не задумывался, что те, кто обвиняет его, как судью, в чрезмерной жестокости, из-за этого же не любят его как человека! Ведь сам-то он никогда не переносил общественные, служебные категории в сферу личных отношений... Так, во всяком случае, ему кажется. Галиакберов даже ощутил желание тут же, не откладывая, пойти домой к Байназарову — и поговорить с ним начистоту, по душам. Когда-нибудь ведь можно позволить себе такое, в порядке исключения? Что скажет ему адвокат, как объяснит?..

Оборвал себя: «Да что это я, в самом деле?! Еще вправду побегу к Байназарову! С ума сошел... наваждение какое-то...»

Тут же подумал: «А ведь Байназаров знает уже, что с моим сыном... Вот уж... пища-то ему!»

И снова дохнуло со стороны невидимым знобким холодом: представилось, как завтра, в суде, еще там, где придется ему быть, куда пригласят, вызовут по служебным надобностям, — станут смотреть на него... Не как всегда — особенными глазами, в которых придется читать один и тот же вопрос: «А как ты переживаешь случившееся с сыном?! Ревнитель правопорядка — а у самого в семье вон что!»

Оглядевшись, куда это он в задумчивости забрел, — Галиакберов быстро пошел по направлению к своей улице — домой...

Наутро, как только появился на работе, ему действительно стало казаться, что буквально все вокруг смотрят на него «особыми» глазами, но молчат, чтобы не выглядеть бестактными. Казалось также, что разговаривают с ним подчеркнуто учтиво и вежливо, будто стараясь хотя бы этим облегчить его душевное состояние; или, наоборот, намекая тем самым, что им все известно, однако положения дел, прежних взаимоотношений ничто изменить не может: он для них остается *всегдашним* Галиакберовым, что бы там ни произошло...

Галиакберов закрылся в кабинете, попросив секретаршу Веру отыскать одно давнее «Дело» — о подделке магазинных чеков... Был уверен, что Вере долго придется копаться в архиве, роаясь в груде пыльных бумажных связок, и очень удивился, когда она тут же, быстро, принесла и положила перед ним на стол не очень-то большую по объему папку.

Не ошиблась случайно... то самое? — спросил он

Вера, не терпевшая, когда кто-то ставил под сомнение ее служебную аккуратность, обиженно передернула плечиками:

— У нас проходило дело только одного несовершеннолетнего... по подделке документов, а уточнить — чеков... дело Ардаширова.

— Ну-ну... спасибо.

С невольным волнением развязывал он темки папки, почему-то внутренне желая, чтобы это было «Дело» вовсе не того Ардаширова, который теперь был зачинщиком его семейного несчастья. А если это он — надо отдать ему дол-

жное: здорово сумел отомстить ненавистному судье!

«Ардаширов Мансур Вагизович», — прочитал Галиакберов.

Ардаширов Мансур...

Мансур...

Ну, конечно!

Теперь Галиакберов окончательно припомнил напряженно-замкнутое лицо подростка, усеянное конопушками, с копной непослушных волос, с вызывающим, откровенно дерзким взглядом темных глаз. Может быть, именно эта нескрываемая дерзость сыграла не последнюю роль при вынесении приговора...

Себе-то, разумеется, Галиакберов мог признаться, что поведение подсудимого на процессе, то, как он держался, отвечал, даже смотрел, — влияли на приговор. Он всегда страстно, почти болезненно относится к тому, как ведет себя человек перед судебским столом, и вид искренне раскаивающегося правонарушителя для него совсем не безразличен, нет. Раскаялся — прочувствовал, значит, сам себя осудил, а наказание суда — уже как завершающий этап, тяжелый, но справедливый, необходимый.

Галиакберову уже не надо было листать пожелтевшие страницы «Дела» ... Убедившись, кто же такой Ардаширов, он словно бы открыл невидимым ключиком шлюзы памяти — и нужная информация высветилась в ее логическом развитии. Больше машинально, чем из-за интереса, переворачивал теперь Галиакберов страницы и, натываясь на те или иные строчки, воссоздавал события, видя их перед собой, как на большом экране.

Состав преступления: подделка чеков и попытка получить по ним шерстяной костюм и дорогой свитер...

Попался случайно. Когда продавец, чтобы до конца удостовериться в выбитой кассовым аппаратом цифре, спросил Ардаширова, сколько же значится в чеке, — тот покраснел, замялся, назвал совсем не ту сумму. Увидев, что продавец насторожился, снова поднес чек к глазам, Ардаширов бросился к дверям, но тут же был задержан покупателями...

Потом, как водится, допросы, обыск в доме, свидетели...

Из сообщения следователя Галиакберову было известно, что отец и мать шестнадцатилетнего Мансура Ардаширова — спившиеся, без определенных занятий люди, промышлявшие случайными заработками на городском рынке. Сам Мансур, бросив школу, поступил учеником слесаря на механический завод, однако, судя по полученной судом характеристике, трудился кое-как, спустя рукава, не выказав ни прилежания, ни стремления освоить профессию, и за систематические прогулы имел взыскания и выговоры...

В то время вся эта история представлялась Галиакберову довольно банальной. Ничего не поделаешь: встречаются еще такие неблагополучные семьи, и, как результат, выходят из них подростки, зараженные дурными наклонностями... У суда же — свои обязанности, свои задачи. Совершил проступок — отвечай!

Правда, материалы дела подталкивали к тому, что за спиной Мансура Ардаширова скрывались другие лица; скорее всего, не в одиночку он действовал, и на следствии удалось выявить,

что подросток находился под определенным влиянием у вора и рецидивиста, известного в преступном мире под прозвищем Кoryто. Однако доказать, что Кoryто или кто-то другой причастен к подделке чеков, следовательно не удалось, а Мансур упорно твердил, что «промышлял» в магазинах втайне ото всех, кто его знал... Кoryто же вообще вскоре куда-то исчез, оснований для его розыска не было, и Галиакберов, которого наглый вид мальчишки выводил из себя, думал тогда про него: если ты пытаешься всячески выгородить, спасти такого матерого преступника, как Кoryто, то, значит, сам вдвойне преступник и получишь «на полную катушку»!

Так думал в то время, полностью уверенный в своей правоте...

Сейчас же Галиакберов невольно возвращался к словам лейтенанта Биктимирова—о том, что Ардаширова якобы на совершение первого преступления подтолкнул опытный рецидивист; и лейтенант сказал об этом категорично, как о само собой разумеющемся... Откуда у Биктимирова подобные сведения, такая уверенность, если следствию по самым горячим следам событий этого не удалось установить?

Галиакберов, сделав пометочку на страничке откидного календаря, стал вчитываться в протокол допроса...

Весьма странно вел себя на суде продавец универмага, которому Ардаширов пытался подсунуть фальшивый чек. Вначале показания продавца были исполнены высокого негодования, он так бичевал «мошенника» и «шпану», что пришлось сделать ему замечание, чтоб не оскорблял подсудимого, обходился без эмоций—лишь одни голые факты, только факты... Постепенно тон продавца стал меняться, и к концу судебного

заседания он уже чуть ли не оправдывал Ардаширова, объясняя его поступок такими словами: «детская глупость», «игра в разбойников», «желание острых ощущений». И ссылался на то, что «неразумного» Мансура Ардаширова кто-то подстрекал: «...Руку готов дать на отсечение, что было так, парнишке замутили мозги, использовали его доверчивость...»

Галиакберов явственно увидел сейчас мешковатую фигуру продавца, который уже после вынесения приговора размахивал длинными руками и кричал на весь зал, что будет жаловаться «вышние инстанции», «зачем из несчастного, невзначай оступившегося парнишки делать каторжника?!». Галиакберов сделал ему тогда строгое внушение, про себя посчитав его за несерьезного человека, у которого семь пятниц на неделе.

Но почему продавец все-таки тоже говорил о возможном подстрекателе? Сейчас, при знакомстве с протоколом, в поведении продавца уже подмечались какие-то новые оттенки, в то время не принятые им, Галиакберовым, во внимание... Возможно, продавец уже в ходе заседания прослышал о чем-то, нечаянно что-то узнал, оставшееся неизвестным как следствию, так позже и суду?

Другие свидетели... один.. второй... третий...

Полупьяное бормотание отца подсудимого Вагиза Габбасовича Ардаширова, и протестующий возглас сына: «Не хочу, чтоб он обо мне говорил... лучше сразу в тюрьму!»

Галиакберов откинулся на спинку стула, барабанил пальцами по крышке стола. Сколько же, оказывается, психологического напряжения, драматизма таит в себе это «Дело»! Почему же все это прошло мимо него, судьи, во время заседа-

ния? Может быть, потому, что сама эта история с чеками представлялась тогда весьма заурядной, с юридической точки зрения малоинтересной, рядовой, и он спешил разом покончить с ней, чтобы не висела она досадливым грузом, не мешала в работе над разбором по-настоящему сложных, многотрудных для суда уголовных и гражданских дел... Вот отчего после судебного разбирательства он не удержался, упрекнул адвоката Байназарова, который внес определенную нервность в ходе заседания, вел себя, по мнению Галиакберова, не как представитель адвокатуры, а как спаситель «с улицы». Байназаров в тот день позволял себе резкие реплики в ответ на слова членов суда, пытался докапываться до каких-то второстепенных, неспособных повлиять на приговор мелочей, вроде того, чем увлекался несовершеннолетний Ардаширов, какие книги читал, где ночевал последнюю неделю, с кем выпивал такого-то числа, из-за чего на глазах у соседей ударил своего отца и т. п. Все это, само собой, затягивало и без того дорогое время—он, Галиакберов, не скрывал своего недовольства, поглядывал на беспокойного адвоката сердито, неодобрительно.

Затем же в своем основном защитном выступлении Байназаров — не откажешь ему — сумел из этих мелких, незначительных вроде бы фактов и фактиков сделать такие обширные выводы, обобщения — в зале рты изумленно раскрыли! Но он, Галиакберов, оставался невозмутимым: отдавая должное тому адвокату, который даже в безнадежной вроде бы ситуации умеет убедительно обосновать доводы на снисхождение к обвиняемому, — он все же всегда помнил, что ухищрения защиты направлены, в конце концов, на то, чтобы притупить, осла-

бить твердую линию суда. И, как удовлетворенно считал тогда, не позволил Байназарову провести себя, и тот, затрагивающий столько сил, энергии, нервов на это дело, в порыве гнева обозвал его «палачом»...

Но это опять же было *тогда*...

А сейчас?

Заскрипела открываемая дверь, Вера, видимо, о чем-то хотела доложить, но он, подняв голову, бросил:

— Ко мне нельзя... очень занят... позже!

Вчитываясь в фиолетовые строчки, он припоминал больше, чем, на первый взгляд, несли они в себе, и выступление адвоката так оживало в его сознании, будто в эти минуты он слышал чуть глуховатый, но очень напористый, возбужденный голос Байназарова...

Байназаров, увлекаясь, так живописал ту обстановку, в которой рос и воспитывался его подзащитный, что отец и мать Мансура только глазами хлопали — в великом изумлении от того, откуда этот чужой, незнакомый человек знает их семейные тайны. Адвокат же, кроме того, называл по именам всех дружков Мансура, упрекнул его заводских наставников, которым было безразлично, останется ли паренек в цехе или уйдет оттуда, выразил удивление, почему в свое время так легко рассталась с учеником Ардашировым школа, ни один из педагогов не поинтересовался, отчего подросток прекратил посещать уроки в разгар учебного года. Адвокат красочно описывал быт и нравы семьи Ардашировых, в которой каждое утро начиналось с судорожных поисков денег на выпивку, отец и мать превратили квартиру в распивочную забегаловку, в которой постоянно появлялись, ночевали, сканда-

лили, непристойно вели себя разные сомнительные личности, обретающиеся возле городского рынка... И, рассказывая про это, Байназаров тут же пытался раскрыть внутренний мир Ардаширова-младшего, которого, с одной стороны, тяготила жизнь в семье, он испытывал желание «...укатить куда угодно, лишь бы от дома подальше»; с другой—эта же самая жизнь засасывала его, привела, в конечном счете, к преступлению. Перед глазами слушателей как бы зримо — в картинах — раскрылась вся эволюция нескладной судьбы Мансура Ардаширова, в которой не меньше, если не больше его самого были повинны другие — люди равнодушные, невнимательные или просто-напросто безразличные.

Нет, Галиакберов не мог отрицать, что речь Байназарова произвела на присутствовавших в зале громадное впечатление. Однако сам он, внутренне усмехаясь, знал: весь жар этой речи не зажжет огня в нем, судье, от которого зависит, каким быть приговору... В выступлении адвоката все же не было главного аргумента: он тоже не мог доказать, что Мансур Ардаширов стал жертвой подстрекательства со стороны более опытного, взрослого преступника, и отсутствие этого главного аргумента лишало страстную по накалу речь надежного фундамента. Какой бы блестящей она ни представлялась — но в смысле фактического материала мало что меняла! К тому ж Галиакберов, слушая адвоката, полагал, что Байназаров, так откровенно жалея Ардаширова, находится под неясной властью жалости к самому себе, тому пятнадцатилетнему подростку, что некогда ударил топором пьяного отца и был тоже вынужден сидеть на скамье подсудимых...

А Мансур Ардаширов — даже после такой речи адвоката — молчал! На вопросы суда отвечал отрывисто — или угрюмо, или насмешливо; в основном — «да», «нет»... Всячески, как казалось Галиакберову, подчеркивал свое нежелание помочь суду разобраться в случившемся с ним, Ардашировым, даже вроде бы бравировал своей смелостью, своим пренебрежением к тому, что решит суд... Потому-то Галиакберов укреплялся в мысли, что приговор должен быть жестким, чтобы стал он подсудимому поучительным!

Но ведь молчит сейчас, не желает раскрыться, что-то упрямо утаивает его, Галиакберова, сын... его Айрат...

А если тогда, на том суде, Мансур Ардаширов не хотел говорить по той же мальчишеской причине: дал слово не выдавать — держись! Держись, чего бы это тебе ни стоило... А за внешней бравадой, дерзким поведением таился мучительный, сильный страх?

Галиакберов вдруг явственно увидел на месте Ардаширова своего Айрата... там, на скамье подсудимых, сжавшегося под многочисленными взглядами! А ведь ничего не менялось, никакой разницы не было: Мансур ли Ардаширов — Айрат ли Галиакберов... И хоть в милиции абсолютно уверены, что Айрат виноват лишь в том, что он исполнял чужую волю, его уговорили отдать продавцу подложный чек, — подстрекатель-то не пойман! И вообще может быть не пойман!

Эта догадка потрясла Галиакберова.

И почему, действительно, подстрекателя должны поймать? А если это вовсе не Ардаширов? И ведь остался же на свободе, ненаказанным тот самый рецидивист, который — по

мнению многих — сыграл роковую роль в судьбе несовершеннолетнего Ардаширова...

Но тогда именно он, Галиакберов, виноват в том, что основной преступник в истории с фальшивыми чеками не понес наказания! Да, да... Байназаров, вспомнить, настаивал, чтобы следствие по делу Мансура Ардаширова было продолжено — с тем чтобы установить личности остальных соучастников. И лишь волевое стремление Галиакберова как можно быстрее рассмотреть и закрыть «Дело №...» заставило милицию ослабить поиски возможных преступников, а потом и вовсе прекратить эти поиски. Так все было...

Так... так...

Галиакберов поднимался со стула, грузно прохаживался по кабинету, снова в задумчивости садился за стол; подходил к раскрытому окну, подолгу стоял тут, невидящими глазами всматриваясь в глубину двора. Хотелось отыскать для себя какие-то веские оправдательные мотивы... «Не мог же я бесконечно долго заниматься мелким делом, — говорил он себе. — И как ни поверни — на фоне других это было мелкое дело для суда! К тому ж не моя обязанность выискивать преступников... Это милиция должна была к моменту судебного разбирательства обеспечить «полную явку» всех виновных. Она, как сейчас выясняется, не сумела этого сделать, а тот конопатый мальчишка был нем как рыба... И получил по заслугам! Навсегда усвоил, что значит проявлять строптивость на суде...»

Но как мысленно ни оправдывал себя Галиакберов, за какие спасительные ниточки ни хватался — желанного успокоения не наступа-

ло. Не выходило из головы то, испугавшее его сравнение: на месте Ардаширова — Айрат... И томительная тоска не покидала сердце. Разумеется, в этом не было ничего от раскаяния или, скажем, от вынужденного признания собственной вины. Нет. Тоску, щемящую душевную боль рождало чувство, похожее на удивление: почему же все сложилось таким образом — и в тот момент, когда, чудилось, жизнь шла в прекрасной настроенности, обещая впереди только хорошее? Если и прорезалось в сознании Галиакберова что-то похожее на вину — то это ни в коем случае не относилось к Ардаширову. К сыну — другое дело... Этакое слабое ощущение некоторой виноватости перед ним, сыночком-недотепой, тут же, впрочем, заглушаемое злостью и жалостью: сам, стервец, вляпался — и мать с отцом измарал! Вынужден был сказать себе Галиакберов, что впрямь мало занимался воспитанием Айрата, всецело полагаясь на жену, и вот последствия...

Чтобы как-то отвлечься, настроиться на иной ход мыслей, Галиакберов позвонил в милицию, осведомился, не задержан ли Ардаширов. Ответ был неутешительным. «Этого и следовало ожидать, — вздохнув, подумал Галиакберов. — Если человек задумал надежно скрыться — он просто не попадется...» Значит, надо ждать уголовного процесса, быть готовым ко всему...

Снова вздохнув, Галиакберов закрыл папку с документами «Дела» Мансура Вагизовича Ардаширова.

Не покидали мысли о Байназарове.

Вот если перед кем он еще в какой-то мере виноват — то, возможно, перед ним, адвокатом.

И опять появилось у Галиакберова желание

встретиться с Байназаровым, поговорить с ним. Чтоб откровенно, по душам... Навязаться на такой разговор! Хотя, учитывая мягкий, отходчивый характер Байназарова, можно не сомневаться, что тот согласится на откровенную беседу, даже, пожалуй, найдет ее полезной для себя. Сколько уж лет они знают друг друга — и все это время как бы на отдалении, не делая попыток бросить мостик над разделяющим их рвом... Но разве он, Галиакберов, если говорить по самому крупному, взыскательному счету, сомневается в порядочности адвоката?!

Никогда не сомневался.

И теперь уверен: посоветуйся он с Байназаровым насчет сына — за стены их разговор не выйдет, никаких нежелательных последствий не будет. Конечно, дела Ардаширова в беседе не обойти, оно будет маячить, как бельмо на глазу, все острые углы не сгладишь, однако... пусть! Иначе может быть поздно — в самом главном сейчас для него, Галиакберова...

Побледневший Галиакберов чуть подрагивающим указательным пальцем медленно, в напряжении, словно это стоило ему немалых усилий, набрал на диске номер нужного телефона и тут же услышал:

— Адвокат Байназаров... пожалуйста!

14

Воскресенье Рамзия провела в постели, не имея сил чем-нибудь заняться. Попробовала было прибраться в комнатах, но все валилось из рук; пребывала она в странном для нее состоянии сонливости и апатии, сменяемом мучительными приступами душевных терзаний: «Айрат... как он там, в милиции... что же будет?!»

Когда утром пришла она на работу — главный врач, взглянув на ее изменившееся, с синевой под глазами лицо, в приказной форме потребовал, чтобы она отправлялась домой, отдыхала не менее трех дней. Главврач, конечно, думал, что причина глубоких переживаний хирурга Рамзии Кадыргуловны Галиакберовой — в той драматической операции, когда искалеченный трактором человек, не приходя в сознание, умер прямо на операционном столе... Что ж, доля истины была в этом: субботняя операция усугубляла тягостное настроение Рамзии; она всегда остро переживала гибель больных, которых бралась оперировать, уже заведомо даже зная, что шансы на успех ничтожные, спасти может лишь чудо...

Медленно возвращаясь домой, Рамзия ощущала в себе страшную пустоту, и мысль о том, что сейчас она окажется в пустой, без голосов квартире, снова окунется в одиночество, останется один на один со своими хаотичными мыслями, — вызвала у нее чувство пугливого протеста: не хочу!

Постояла, привалившись к низенькой оградке сквера, размышляя, куда бы пойти...

Очень хотелось заглянуть в милицию, хоть краешком глаза увидеть сына... Однако муж категорически запретил ей там появляться, опасаясь, что она, как он выразился, «...натворит глупостей — не расхлебашь потом».

Рамзия понимала, что Нурулла не зря говорил ей это, он лучше знает, как надо поступить в приключившейся ситуации; да и втайне она глубоко верила: муж в конце концов уладит неприятное для них дело, и не надо, действительно, усугублять положение каким-нибудь необдуманным поступком... Нужно потерпеть!

А если в школу сходить?

«Да, в школу! — обрадовалась внезапному решению Рамзия. — Туда-то можно... Ведь у Айрата экзамены, в школе будут беспокоиться, где он... и вообще... Не может же школьная администрация в стороне остаться? К тому ж сколько раз приглашала новый классный руководитель Айрата, Наталья Андреевна Величко, и все недосуг было встретиться с ней, познакомиться... Господи, с декабря иль января — и все недосуг! Стыдно даже...»

Понятно, что арест милицией Айрата—не самый подходящий случай для знакомства с его классной наставницей, вообще для посещения школы... Но когда-то нужно, все равно придется!

И ведь сколько раз давала себе слово: завтра... через день-два... ну ладно, на следующей неделе... обязательно побывает она в школе, увидит незнакомую Наталью Андреевну, поговорит с ней о сыне, о том, что у него вечные нелады с математикой, как лучше совместными усилиями помочь ему! Давала себе слово — но в текучке повседневных дел, забот так и не собралась... Вправду, совестно!.. И не зря же Наталья Андреевна просила побывать в школе, у нее, наверно, тоже были причины поговорить с родителями об Айрате—про его учебные дела, про поведение... Возможно, что-то настораживало учительницу, что-то подмечала она—тревожное, ненормальное... Вовремя б обсудить, принять меры, вмешаться!

Чем больше размышляла так Рамзия — тем пронзительнее чувствовала она свою вину перед сыном, в том, что произошло с ним. Именно свою вину! Материнскую. Ведь Нурулла постоянно во власти своей особенной работы, и она, жена, нередко, пугается, когда ее муж возвра-

щается домой после какого-нибудь сложного процесса с землистым лицом, погасшими глазами, нервным дрожанием пальцев... Что ни говори, ему приходится решать судьбы людей! Они, эти люди, проходят перед ним — разные по характерам, взглядам, возрасту своему... Встречаются, конечно, такие, как, например, Айрат, попавшие в какую-нибудь передрагу по глупости, по наивности... Разве тут можно со спокойной душой вынести приговор? А Закон требует — и оудья, зачитывая строки приговора, словно бы врезает их в свое живое сердце... Так?

Но неужто возможно это... Айрат и приговор?

Рамзия крепко ухватила за прутья ограды, ощущая сильное головокружение; чей-то участливый мужской голос услышала:

— Гражданка, вам плохо?

— Не беспокойтесь, — ответила и заставила себя пойти дальше, стараясь ступать твердо, преодолевая прилив слабости. «Надо держаться... распустилась... позор!»

Школа находилась поблизости — высокое здание из красного кирпича, отражающее широкими окнами десятки веселых солнц.

Рамзии чудилось, что сейчас многие... не известно кто именно, однако многие!.. смотрят из этих огромных окон на нее, как подходит она к школьному подъезду — и показывают друг другу: «Это мать того самого Айрата, которого позавчера арестовали!»

У самой двери на миг остановили ее большие выразительные глаза невысокой девушки в форменном школьном платье с белым фартуком... Девушка, потупившись, прошептала: «Здравствуйте!..» — и, окончательно смутившись, поспешно отступила в сторону.

«Что это она, — поразились Рамзия, — может, за кого-то другого приняла меня?»

И повезло ей: подметавшая вестибюль уборщица указала на высокую и стройную молодую женщину, что шла по длинному коридору прямо к ним: это, дескать, та самая Наталья Андреевна Величко, которую вы разыскиваете...

Наталья Андреевна, когда Рамзия представилась ей, сокрушенно сказала:

— Ведь какая неприятность...

И на ее красивом лице обозначилось самое неподдельное страдание.

— Пойдемте, Рамзия Кадыргуловна, в нашу классную комнату... там сейчас никого...

Они шли в класс, и Наталья Андреевна легонько вздыхала; эти ее вздохи, то ли сочувственные, то ли просто-напросто вызванные взволнованностью при одном упоминании об Айрате, имя которого сейчас всю склоняется в школе, угнетающе действовали на Рамзию. Конечно, Рамзия, увидевшая нового классного руководителя сына, не могла знать, что Наталья Андреевна по натуре своей очень эмоциональная, легко возбудимая, сверхчувствительная, можно сказать. К тому ж она относительно недавно приняла класс, еще толком не привыкла к нему, не узнала как следует всех своих учеников, — и то, что случилось с Айратом, буквально потрясло ее воображение. Нужно, наконец, добавить, что Наталья Андреевна, кроме всего прочего, считала себя немножечко виноватой перед этим мальчиком. Она всегда болезненно переживала, когда кто-то из ребят не проявлял интереса к ее урокам, слушал ее объяснения если не равнодушно, то, во всяком случае, без живинки в глазах, — и воспринимала это чуть ли не как личную обиду. Айрат же как раз был из тех, кого

уроки математики не только не привлекали — он их боялся. Наталья Андреевна попервоначально часто стыдила его и не сразу поняла, что самолюбивый, замкнутый в себе мальчик очень тяжело переносит ее демонстративные — на виду всего класса — «проработки»...

Откуда Рамзии было все это знать! И сейчас, кое-как втиснувшись своим располневшим телом в узкое пространство низкой парты, сидя рядом с тоненькой Натальей Андреевной, она, подобно большинству родителей, которые из-за плохого поведения детей чувствуют себя должниками школы, робеют перед педагогами, — жадно внимала каждому слову классного руководителя. А Наталья Андреевна, выяснив, что матери Айрата самой толком не известно, в чем же проступок сына, из-за которого того держат в милиции, — произнесла, по-прежнему легонько вздыхая:

— И мы в школе прослышали, но что и как — в неведении. Вот выяснилось, правда, что там с Айратом еще один мальчик, но не из нашей школы, из соседней. Как раз перед вашим приходом мне об этом сказала Фарида...

— Кто... какая Фарида? — удивленно спросила Рамзия.

— Ах, вы не знаете Фариду?! — в свою очередь удивилась Наталья Андреевна. — Тоже наша ученица. У них с Айратом завидная, скажу вам, дружба. И что дружат они, притом давно уж, — это ни для кого не секрет!

Айрат... и дружба с девушкой?!

Это было для Рамзии открытием.

Сказала неуверенно:

— Он же совсем еще мальчик...

— Да вы, скорее всего, не так поняли! — воскликнула Наталья Андреевна. — В общем, тя-

нутя они друг к другу, любят вместе бывать, говорить... Фарида помогает Айрату по математике... очень запустил он математику. И Фарида к тому ж в восхищении от того, как Айрат рисует. У нее, знаете, тонкий, хорошо развитый художественный вкус! Это она заставила меня поверить, что у Айрата будущее художника...

Рамзия почувствовала, что от удовольствия — внезапной гордости за сына — краснеет. Но лицо Натальи Андреевны сразу же опять стало озабоченным; вертела она в длинных ухоженных пальцах карандаш, говорила, недоумевая и словно бы сейчас, в этот самый момент, пытаюсь окончательно разгадать те причины, что толкнули Айрата на бесчестный поступок:

— Если бы я вела этот класс хотя бы года два-три — легче б было мне разобраться, что в ком из ребят заложено, что от кого ждать можно. А я пришла — они, естественно, насторожились, долго присматривались ко мне. Я — к ним. Восьмой класс — сложный возраст, уже свои привычки, категоричные суждения, бескомпромиссность, желание казаться взрослее, чем есть на самом деле! Я, правда, отвлекаюсь, надо бы только об Айрате...

— Что вы, Наталья Андреевна, мне интересно вас слушать и... полезно. Да!

— Ну вот... И не могу... нет... сказать, что Айрат — из особенно трудных учеников. Внешне он ведь даже тихий, застенчивый мальчик. А что как-то сразу задело меня, показалось... как бы это объяснить?... неприятным... вот именно неприятным!.. это откровенно скучающий вид Айрата на моих уроках. Согласитесь со мной: трудно переносить, когда ты стараешься, стараешься, всю душу вкладываешь — а тебе в лицо чуть ли не зевают!

— Согласна с вами, — тихо произнесла Рамзия, подумав при этом, что учительница не умеет скрывать чувств, владеющих ею; в ее характере — непосредственность и сильно развитое самолюбие... Вероятно, с ее приходом в класс Айрату стало намного труднее, чем при прежнем преподавателе математики.

— Должна признаться вам, Рамзия Кадыргуловна, вначале я решила: этот ученик — Айрат Галиакберов — он демонстративно игнорирует мои уроки, и потому не только в классе малоактивен — домашние задания не выполняет! Потом пропуски начались. Раз не пришел... в другой, узнаю я, сбежал за минуту до звонка... вот ведь как! Потому и приглашала вас в школу, чтоб вместе разобраться, даже домой хотела к вам заглянуть....

— Наталья Андреевна, мучаюсь сейчас, что по первому вашему зову не пришла!

— Что дальше-то было, послушайте... Стала я Айрату двойки ставить — одну за другой. В отчаянье была, но ставила! Ведь прогуливал он уже систематически, да так, что не захочешь — обидишься. К примеру, на первом уроке, на литературе, сидит в классе, занимается, как все, со второго же, с алгебры, с моего, значит, урока — уходит!

— Боже ты мой...

— Да-да, так было. И не получалось, чтоб на откровенность вызвать, на разговор по душам. Как ни старалась — молчит, хмурится! Весь в себе, будто в скорлупе...

— И с этим согласна я, Наталья Андреевна.

— В самом деле? — обрадовалась учительница. — Вот видите... не одна, выходит, я... Ну, ладно! Что дальше-то? Короче, я уж была готова махнуть рукой на Айрата... правда, это я к слову

говоря, а в действительности: махнешь ли? Но, в общем, места не находила от бессилия, от того, что не в состоянии подобрать ключи к сердцу мальчика... чтоб ему помочь и себя, в конце концов, успокоить! И тут открыли в нашем школьном здании выставку художественного творчества ребят... не только наших учеников—со всех школ города. И каково ж было мое удивление, когда я увидела графические работы и этюды акварелью, маслом, выполненные Айратом! Представить себе не можете, как я была поражена, заинтригована, если хотите...

— Понравилось вам? — не сдержав волнения, спросила Рамзия, сама понимая, как после сказанного Натальей Андреевной уже неслепо звучит ее вопрос.

— Это были самые лучшие работы на выставке! В первый момент даже не могла совместить это: двоечник Галиакберов и способнейший паренек Галиакберов—одно и то же?! И то, и другое — один мальчик? Понимаете меня, Рамзия Кадыргуловна?.. А тут вдруг Фарида... да-да, она, Фарида... с каким-то веселым вызовом — я почувствовала сразу, что с вызовом!—говорит: «Вот видите, Наталья Андреевна, вы Галиакберова изводите, двойки ему лепите, а он такой талантливый человек!» Что тут было ответить? Ну вот, Рамзия Кадыргуловна, что бы вы ответили Фариде, окажись на моем месте?

— Н-не знаю...

И подумала Рамзия: «Сколько ж всего... двойки, выставка, еще эта девочка, Фарида... и все мимо нас проходило, мимо семьи!»

Наталья Андреевна, кажется, не замечала, как волнуется, слушая ее, мать Айрата — собственные переживания недавних дней захвати-ли ее:

— Вот, Рамзия Кадыргуловна! И тут-то мне стало ясно: если кто поможет мне—она, Фарида! Ей я сказала: «Ты ошибаешься, если тоже считаешь, что художнику не обязательно хорошо знать математику, и вдвойне совершаешь ошибку, если не пытаешься разубедить в этом Айрата... Живописец, график, скульптор, декоратор и монументалист — любой из них! — должны владеть математическими законами, чтобы точно соизмерять пропорции, чувствовать точность линий, безошибочно ориентироваться в пространстве... И ты, Фарида, помоги ему, Айрату, выбраться из затянувшегося математического тупика, не просто как отличница, по поручению... как друг Айрата!» Приблизительно так, Рамзия Кадыргуловна, сказала я тогда Фариде... полнее, больше, конечно. Мы долго разговаривали с ней.

— Я очень благодарна вам, Наталья Андреевна.

— За что? Это моя работа. Но вот что интересно, Рамзия Кадыргуловна! Я видела, что Фарида и Айрат не раз ссорились... да. Она настаивала, чтоб он занимался... вот поэтому ссорились. А он не желал! Видимо, страх перед математикой уже корнями в сердце пророс... Но у Фариды упорный, целеустремленный характер, позавидовать можно. Настаивала на своем, занимались они вместе чуть не каждый день, и к экзаменам Айрат, как спортсмены выражаются, набрал форму... Совсем другой стал — что к доске вызывать, что в его тетради заглянуть!.. Но, в самом деле, странно, что вы не знаете про Фариду...

Рамзия неопределенно пожала плечами; и было ей горько, но вместе с тем радостно: у подросткового сына есть уже своя, неведомая ей, матери, жизнь, и в этой жизни рядом с Айратом хорошая девушка,—хорошая потому, что самоотверженно

защищает его, помогает ему, верит в его талант...

— Вы, Рамзия Кадыргуловна, не сомневайтесь: наш педагогический коллектив не останется в стороне. У мальчика экзамены... а тут такое! Совместными усилиями добьемся ясности. Я убеждена, что вся история эта — сплошное недоразумение. Уж кто-кто... но Айрат?! Не соглашусь!

Наталья Андреевна, поднявшись из-за парты, возбужденно прошла по классу, — красивая и молодая, добрая и обидчивая, непреклонная и великодушная... Рамзия — в этот момент и когда уже распрощались они, спускалась по лестничным ступеням в вестибюль, — думала: «Не будь отзывчивых, благородных людей, как тяжело жилось бы на свете! И среди тех, от кого зависит сейчас участь моего сына, есть, разумеется, чуткие люди. У многих собственные дети. Поймут же, смягчатся при виде виноватых мальчишеских глаз...»

И через эти успокоительные раздумья — внезапная мысль: «А мой муж... Нурулла... как бы он поступил в подобной ситуации? Когда перед ним, судьей, такие вот подростки? Случается ж, и не раз... Должен был он решать, выносить приговор. Как он поступал в этих случаях?!»

Хотелось ей верить, что при всей своей строгости, непреклонности Нурулла умел разграничить: вот этот — истинный преступник, злостный, опасный; а другой — он просто оступившийся человек, молодой, подпавший под дурное влияние... И разве суд, наказывая, не проявит щадящего отношения к заблудшему юнцу? Можно запрятать за решетку, а можно ведь само судебное разбирательство превратить в поучительный, на всю жизнь, урок, ограничившись условным наказанием, — так?

«Впрочем, что я знаю в этих сложных делах! — оборвала себя Рамзия. — Нурулла же говорил: закон для всех одинаков... это, наверно, и так надо понимать: что для мужчины, что для юноши — он один, закон. Совершил преступление — отвечай! Но все же спрошу Нуруллу: бывало ли у него чувство жалости вот к таким... к таким, как наш Айрат?»

Углубленная в свои думы, она вышла за школьную ограду; не сразу догадалась, что чьи-то слова: «Простите, пожалуйста...» — обращены к ней. Но сзади, за спиной, похрустывал песок под быстрыми шагами, ее догоняли, и прежний — в учащенном дыхании — голос повторил:

— Простите, пожалуйста...

Обернулась Рамзия, приостановилась, поджидая: несмело шла к ней та самая — невысокая, большеглазая, в форменном платье — девушка, что час назад смущенно поздоровалась у школьных дверей.

— Рамзия Кадыргуловна...

— Знаете меня?

— Вы же мама Айрата...

— А вы... кто же?

— Меня зовут Фарида.

Рамзия едва сдержала удивленное восклицание. Протянула руку:

— Здравствуйте... здравствуй, Фарида. Очень рада познакомиться с тобой.

— И я тоже... с вами!

Белозубая — счастливая и открытая — улыбка.

Но всего на миг; и снова — смущенье, до густого румянца на щеках. Голос подрагивает:

— Я видела, что вы пришли в школу, и решила вас подождать...

— Правильно сделала. — Рамзия ободряю-

ще улыбнулась. — Вот ты, значит, какая... Фарида.

С неясным ревнивым чувством смотрела она на эту юную девушку — почти девочку еще, но уже переступившую порог детства, стремительно входящую в золотую пору юности; и, наверно, слишком долгим, придиричвым, откровенно изучающим был взгляд Рамзии — Фарида пуще залилась краской, опустила глаза. И Рамзия, почувствовав свою оплошность, постаралась замять ее разговором:

— А знаешь, Фарида, замечательная школа у вас! Зелени, цветов: любуйся — не устанешь!

— Наверно, — кивнула Фарида, и было видно: ей не до отвлеченных разговоров, она не примет их, потому что мысли ее сейчас — беспокойны, совсем о другом... Со свойственной ее возрасту прямолинейностью она спросила: — Наталья Андреевна, конечно, все вам рассказала?

— Как понять это — «все»? — Рамзию слегка покорибила такая, по ее мнению, бесцеремонность: лезть к взрослому человеку — при первой встрече — с настойчивыми вопросами. Насторожилась она, опять, но уже осторожнее, незаметнее для той стала вглядываться в Фариду: а хорошо ли воспитана ты, девочка!

Однако Фарида не обратила внимания на перемену в настроении Рамзии: заговорила быстро, с жаром:

— Несправедливо же, несправедливо! Какая-то чудовищная путаница, какая-то нелепая фантастика... посадить Айрата?! Они что — с ума посходили? Экзамены начинаются, весь класс волнуется... а они?!

Фарида задохнулась от возмущения, две слезинки выкатились из ее глаз, повисли на ресничках... И Рамзия в приливе внезапной нежности

готова была крепко-крепко расцеловать эту милую девушку, которая, оказывается, так горячо и болезненно переживает случившееся с Айратом, — и, возможно, расцеловала б, не произнеси Фарида новой фразы:

— Удивительно: куда смотрит отец Айрата!

— Как это — «куда»? Что, по-твоему, он должен делать?

— Что?.. — чуть растерянно переспросила Фарида. — Но разве, как прокурор, он не может...

— Не прокурор, а судья, — резко оборвала Фариду Рамзия. — Это во-первых...

— Пусть даже судья...

— А во-вторых, можно ли так ставить вопрос!

— У нас все говорят... удивляются...

В больших глазах Фарида было печальное недоумение.

— Кто же это — «все»?

— Ну, действительно, все... ученики... и учителя даже...

— Во-от ка-ак...

Рамзии стало горько, и через это горькое чувство пробивалось другое — сострадательная нежность к мужу. Какая, в самом деле, у него доля! Какой груз несет он на своих плечах! А тут еще, оказывается, окружен молвой, судачат о нем, перемалывают-перемывают косточки... Особенно теперь. Судья, дескать, столп закона, а не в состоянии собственного сына выволить из милиции. Тряпка? Слюнтяй? Или наоборот... Злодей, мол, жестокий тип, равнодушен к судьбе своего единственного сына-школьника! А может, и так злословят: прежде других судил, — нынче твоего сыночка судить будут! По-о-смотрим-им!..

Кажется, лишь в эти минуты Рамзия со всей

ясностью осознала, в какое щекотливое положение попал Нурулла, сердцем почувствовала глубину его переживаний. А ведь сама она, вспомнить, и позавчера, и вчера своими запальчивыми словами сыпала, словно пригоршнями соль, на обнажившуюся рану его души... Она сама!

— Простите, Рамзия Кадыргуловна, я, может быть, ошибаюсь, не права я?

— В чем? Ах да!

Нетерпеливый голос Фарида вывел Рамзию из оцепенения; она старательно подыскивала слова — и то ли Фариде объясняла, то ли уже саму себя убеждала в чем-то главном:

— Да, девочка, это заблуждение, что отец Айрата должен немедленно... как бы поточнее сказать?... чтобы отец помог сыну спрятаться за своей спиной! Помог бы, используя свое служебное положение... Ведь сделай он так, и все скажут: этому судье нельзя доверять...

— Не скажут! Айрат не виноват!

— Мы с тобой считаем: не виноват... но...

— Не виноват!

— Успокойся, девочка. — Рамзия ласково коснулась пальцами щеки Фарида. — Надо потерпеть, видно...

— Экзамены же...

— Пересдаст позже... осенью... Что же делать!

— Но вы, Рамзия Кадыргуловна... вы... уверены?

И такая надежда, такая мольба была на лице Фарида, что снова Рамзия подивилась силе чувств этой девочки, — ответила быстро, как клятву дала:

— Уверена: наш Айрат будет с нами.

— Спасибо вам! — и Фаридка, резко повернувшись, побежала к школьному подъезду, а

Рамзия смотрела ей вслед, не понимая, восторгаться ли, удивляться, возмущаться: «Мне, матери, сказали спасибо... что я в своего сына верю — спасибо?!»

15

Байназаров вошел, как всегда, сутулясь, уже от самых дверей настороженно поглядывая на Галиакберова. А может, Галиакберову казалось, что настороженно... Ведь адвокат был очень близорук, но очки почему-то не носил, и поэтому в выражении лица его, в том, как смотрел он, замечались напряженность и вроде бы выжидательность: не ошибаюсь ли?.. не ошибиться б! Да и в манере разговаривать с людьми у Байназарова было то же самое — как бы откровенное недоверие к собеседнику, особенно при первых встречах или если не сложились взаимоотношения. Недоверие и подозрительность: а не подвох ли вы мне готовите?!

У подзащитных, чьи интересы Байназаров должен был представлять на суде, нередко попервоначально от бесед с адвокатом оставалось самое тягостное впечатление: хмур, замкнут, недоверчив, лишнего словечка не проронит, не ободрит... Но лишь попервоначально. Потом-то убеждались: не сыскать более скрупулезного в разборе дела и до фанатичности упорного в защите адвоката, чем он, Акрам Хамитович Байназаров. Если к тому ж он верил, что подзащитный действительно заслуживает всяческого снисхождения...

Ясно, что из-за своего трудного характера Байназаров не имел близких друзей в коллегии адвокатов, его, пожалуй, даже сторонились, отдавая, правда, должное высокой профессиональной честности Акрама Хамитовича, тому искус-

ству еще, с которым он вел процессы. Заурядный, скучноватый или, как определял Галиакберов, «неудобный» в будничном общении, Байназаров преображался на кафедре суда. Откуда только черпал он свое вдохновение, что давало силу и красоту его ораторскому энтузиазму?! Он властно брал аудиторию в свои руки — и подчинял ее себе; произносил речи с такой страстностью, логической несокрушимостью, так четко и доказательно, что члены суда порой чувствовали себя очень неудобно. Надо выносить строгий приговор, а защитник талантливо убедил присутствующих в зале людей чуть ли не в полной невинности подсудимых...

Правда, не лишне заметить, что Байназаров, как правило, брался только за такие дела, когда видел необходимость настоящей защиты для обвиняемых. Прежде чем дать свое согласие, он долго и с пристрастием изучал все материалы, дотошно вникал в ту обстановку, что способствовала возникновению правонарушения... Он не скрывал своей неприязни к заведомым мерзавцам и подонкам и всячески избегал защищать их, даже если такой шумный процесс мог бы содействовать дальнейшему упрочению его авторитета, его успеха.

...Вот таков был этот человек, к которому не без колебаний решил обратиться Нурулла Рахманович, которого пригласил он к себе для беседы.

16

Поздоровавшись, Байназаров присел на краешек стула, боком к столу, и стал молча ждать, что же скажет ему судья...

Галиакберов тоже смущенно молчал.

Пауза угрожающе затягивалась, и Галиакберов чужим голосом произнес:

— Ну, как вы поживаете, Акрам Хамитович?

И сам же почувствовал, что этот праздный, никчемный вопрос только усугубил двусмысленность положения. Причем Байназаров никак не ответил — лишь неопределенно пожал плечами. Не те отношения были меж ними, чтобы обмениваться пустыми любезностями или, хуже того, хитрить да притворяться... И Галиакберов постарался взять себя в руки, решил сразу же говорить о том, к чему нужна подталкивала.

— У меня неприятности... наслышаны?

Байназаров кивнул, не поднимая глаз.

— Вот так... Нежданно-негаданно, Акрам Хамитович. И в такой момент!

Байназаров хмыкнул, и в словах его была резкость:

— Разве не все равно, в какой момент? От этого неприятность не перестанет быть неприятностью...

Галиакберов помрачнел. «Зря, видно, понадеялся, — тоскливо подумал он. — Не выйдет откровенного разговора. Сухарь и недоброжелатель!» Однако отступать было поздно и, пожалуй, глупо: сам же пригласил Байназарова, тот уже, конечно, догадался, по какому поводу... Значит, что бы там ни было — надо попробовать: может, все-таки поймут они друг друга?

И Галиакберов наклонил в согласии голову:

— Вы, Акрам Хамитович, бесспорно, правы: неприятность остается, как таковая, как факт, при любых условиях, в праздник ли, допустим, она случилась, в будни ли... И дело, в конце концов, не в этом. Не хочу скрывать... да вы сами, Акрам Хамитович, видите... оказался я в нелепнейшей ситуации! Ближе выборы, выдвижение,

а скоро весь город будет знать: сын судьи Галиакберова угодил в милицию... Уже сейчас ловлю на себе многозначительные... если не дать им другого, более точного определения... взгляды. Неприятно... очень! И повторяю: я с вами предельно откровенен. И надеюсь, вы правильно поймете меня не только как юрист, как коллега...

Галиакберов хотел сказать: «...но и как товарищ, как друг», однако, увидев непроницаемое лицо адвоката, оборвал фразу. Опять ощутил прежнюю тоскливую неуверенность: «Нет, его не проймешь!»

— Вы слушаете меня, Акрам Хамитович?

— Если бы не слушал — ушел бы. Ценю и ваше, и свое время.

— Начальник райотдела Колесников предложил мне: хотите — освободим сына. Понимаете?.. Пока не получена санкция прокурора... до этого. Но разве я мог пойти на такое? Имею право? Даже если б сын там был один... все равно бы! А их двое. Милиция ищет главного — зачинщика всего этого дела. А то, что сын... и другой с ним, Малышев... что два сосунка действовали по указке третьего, матерого вора причем, — можно считать доказанным! И что самое неприятное, Акрам Хамитович, третий — не кто иной, как известный нам с вами Ардаширов Мансур! Помните, конечно... Мансур Ардаширов.

Тут Байназаров словно бы даже вздрогнул — резко вскинул голову, удивленно посмотрел на судью. Удивленно и неверяще.

— Да, да, Ардаширов... Я уточнил: именно тот самый. Может, забыли, Акрам Хамитович?

— Забыл? — и усмешливая улыбка скользнула по тонким, бледным губам адвоката. — Я, по-вашему, мог забыть?

«Злорадствует», — подумал Галиакберов.

— Как вы оцениваете случившееся... Акрам Хамитович? Мой сын... и Ардаширов!

— Вы предполагаете — месть?

Ответный вопрос адвоката, заданный быстро и с прежней резкостью в голосе, смутил Галиакберова. Он закашлялся, приложил пальцы ко рту, затем крепко потер лоб, надбровья, мучительно соображая, как все же дальше строить разговор. Отступать—уже, действительно, поздно... И сказал с вызовом:

— А разве такой вывод не напрашивается? Не слишком ли странное совпадение?!

Адвокат молчал. Теперь худое, нервное лицо его выражало глубокую сосредоточенность, и Галиакберов, успокаивая себя, подумал: «Нет, Байназаров не из тех, чтоб радоваться моему несчастью... Пусть наши отношения не сложились, однако он человек порядочный, и мы пойдем друг друга...»

— Что ж, Нурулла Рахманович, — произнес наконец Байназаров, — ничего нельзя исключать... мы, юристы, знаем. Но точно так же — нельзя всего допускать! Можем ошибиться... Короче, вправе ли мы без обстоятельного знакомства с делом что-то категорично утверждать? Тем более: сразу — выводы!

— Это азбука, — недовольно поморщился Галиакберов, — и вы, и я давно ее прошли... Я ведь, Акрам Хамитович, не прошу вас делать какие-то определенные выводы. Но все же... допустим... если это месть мне, судье, — могу лишь восхититься ловкостью... изощренной ловкостью ума... моего бывшего подсудимого. А вашего подзащитного! И не просто тому, что он так умело воспользовался глупостью моего сына... но еще ведь и какой момент, подлец, выбрал! В какое время!.. Хотя, простите, Акрам Хамито-

вич, вы, как я понял, этот фактор игнорируете...

Байназаров промолчал.

— И самое удручающее сейчас, Акрам Хамитович... исчезновение Ардаширова! Можно лишь гадать, скоро ли, нет милиция накроет его. Знаю, что вы бы хотели напомнить мне сейчас... очень хорошо знаю! Насчет того рецидивиста, который когда-то подбил самого Мансура Ардаширова на преступление... да? Я не из тех, кто закрывает глаза на факты прошлого, как бы ни были они неприятны... Тогда ведь тот рецидивист ушел из поля зрения следствия; в деле, в сущности, обозначался теоретически... был, а мог и не быть! Правильно, Акрам Хамитович?

Байназаров снова — в привычке такое у него — неопределенно пожал плечами.

— Разумеется, я помню, с каким упорством защищали вы Ардаширова... Снова посмотрев материалы того, старого дела, могу признать: не совсем дальновидным был я тогда, поспешил, не все учел... теперь вижу! А что вы молчите, Акрам Хамитович? Есть аргументы — спорьте, выкладывайте их!

— Я на том судебном заседании приводил все необходимые аргументы, — негромко сказал адвокат. — К чему нам возвращаться к прошлому...

— А это полезно — возвращаться к прошлому! — чуть ли не с воодушевлением заметил Галиакберов; назидательность и великодушие пробились в его голосе. — Полезно, если можно, если необходимо извлечь уроки! Я для себя такой урок получил... и считаю нужным открыться в этом вам. В то время вы, Акрам Хамитович, были проницательнее... Вот!

Галиакберов пытался определить, какое впе-

чатление произведут на адвоката его слова, стоившие ему немалых внутренних усилий, однако Байназаров оставался невозмутимым, смотрел на массивный чернильный прибор, стоявший на краю стола, и вроде бы этот прибор, изготовленный из куска мрамора, занимал сейчас все его внимание... И Галиакберов, теряя обретенную было уверенность, опять стал говорить сбивчиво, многословно, непохожий на себя всегдашнего; и чувствовал, что должен взять себя в руки, но получалось это с трудом...

— Тогда ведь, Акрам Хамитович, тот третий существовал... вы согласны со мной?.. лишь предположительно, теоретически, как уже определял я. В деле Ардаширова не было прямых указаний на него... вернее, доказательств не было. Именно поэтому Ардаширову было вынесено более строгое наказание, чем могли бы вынести, зная мы конкретно подстрекателя, зачинщика... Так? Теперь же... с сыном моим... этот третий существует конкретно. Конкрет-но! На самом деле! Известно, кто он такой... И выходит, нынче мы имеем нечто иное, чем в ту, давнюю пору...

Говорил, а в мыслях было: «Да о том ли я? Разве сам я верю в то, что пытаюсь доказать Байназарову?» Сердито ослабил узел галстука на шее, расстегнул верхнюю пуговку жаркой нейлоновой сорочки. И уже ненавидел адвоката за его молчание, нежелание поддерживать разговор, помочь ему, Галиакберову, в этом трудном разговоре: видит же, как он мучается, объясняя, признаваясь, спрашивая... И адвоката ненавидел, и себя; но все же продолжал — с каким-то тупым, нарастающим ожесточением:

— И это еще... другой мальчишка с сыном вместе! Мушкетеры, черт бы их побрал... Клятвы на верность, чтоб молчать любой ценой, чтоб

так: сам погибай — друга выручай... возрастные глупости, в общем! А не осознают, что эти глупости приведут к неприятным последствиям. Замкнулись, воды в рот набрали. Оба! Чтоб только предателями не показаться по отношению друг к другу... еще к кому-то там... а в принципе-то, уже ясно к кому. Но ведь продолжайся так — следователю ничего не останется, как возбудить уголовное дело. Уголовное!

Галиакберов, ощущая удушье, еще больше раздернул узел галстука, прошелся по кабинету, искоса взглядывая на сторбленную, нахохленную фигуру адвоката. Тот подал голос:

— Смотри как истолковать поступок ребят...

— Увы, не поступок... преступление!

Галиакберов подошел к окну, широко, до предела распахнул створки, жадно ловя свежий — с улицы — воздух. Тяжелело в правой стороне груди. Он стоял к Байназарову спиной, и теперь фразы его падали в тишину кабинета глухо, медленно, в них отчетливо улавливались боль и усталость:

— Смею надеяться, Акрам Хамитович, вы правильно поймете, почему в трудную для себя минуту пригласил вас... Не столько как коллега... хотя это не исключается... как обескураженный случившимся отец. Как отец непутевого... выяснилось... сына. Не для того пригласил вас, чтобы просить о чем-то, навязывать... не посчитайте так! Просто хотелось с кем-то откровенно поделиться. И не с кем-то... с вами, именно с вами. Вот перелистал материалы по старому делу Ардаширова — и те дни передо мной, словно вчера они были! Вы защищали паренька, зная всю его подноготную, видя в нем то, чего никто из нас по близорукости не увидел... Из песни, как говорится, слова не выкинешь... было! Что случилось

же между нами... колкости, столкновения... это побочное, наносное, не главное. Извините меня за сентиментальность, Акрам Хамитович, но я откроюсь... я всегда питал к вам большую симпатию. Как к специалисту, к человеку... И вот теперь в этом моем положении... я прежде всего вспомнил о вас, Акрам Хамитович, почувствовал потребность поговорить с вами...

— Спасибо, Нурулла Рахманович. — И повернувшийся к адвокату Галиакберов увидел, что у того на выбритых до синевы щеках проступил едва приметный румянец. — Однако... я все же не совсем понимаю...

— Вы должны войти в курс этого дела, Акрам Хамитович. Может, там, где я бессилен, не умею... вы сумеете.

— Что? Уточните, Нурулла Рахманович.

— Вам знакомо такого рода дело, вы изучили его механизм. Вы, наконец, знаете, как разговаривать с ребятами, как подобрать к ним ключи... Доверял же вам Мансур Ардаширов! Никому больше — лишь вам... Он снова всплыл, снова его имя... Вам легче определить мотивы его действий...

Байназаров поднял на судью свои близорукие глаза, какой-то странный огонек на миг проблеснул в них, но тут же затух под прикрытием опущенных век.

— Если подытожить все, Акрам Хамитович... я хочу, чтобы вы занялись этим делом.

Обильный пот выступил на лице Галиакберова. Вытирался платком, ждал.

— Нурулла Рахманович, — смущенно сказал Байназаров. — Но я все-таки не следователь...

— И я, Акрам Хамитович, думаю, прежде чем сказать... Почему может быть полезным ваше предварительное — назову так — участие в

этом деле? Вы просто-напросто не новичок в подобных ситуациях, имеете свою, на практике отработанную схему ведения таких дел... да? Вижу, что ваша помощь тут, согласись вы только, окажется бесценной... Не льщу, нет, объективно, Акрам Хамитович! И сам не представляю вас в роли следователя... к чему, зачем?! Следствие — следствием, там свои работники, пусть стараются... Но вам, юристу, адвокату, лучше не «потом» заняться этим делом, а сейчас, заранее... понимаете меня? Сейчас — вот что важно! Как видите, я полностью откровенен. Уважая вас, доверяя вам — откровенен.

Галиакберов, шумно выдохнув, грузно уселся в свое кресло за столом, тоже, как Байназаров, стал смотреть на мраморную подставку чернильного прибора. Мелко вздрагивали пальцы его рук, он сжал их в кулаки. И поскольку адвокат не спешил что-либо ответить, Галиакберов тревожно подумал: «Если он откажется — каково нам потом встречаться, ведь мне стыдно будет, стыдно и обидно...»

Тихий голос Байназарова заставил его сжаться, в каком-то пугливом и звенящем напряжении ловил он смысл байназаровских слов:

— Признаться, еще не вижу, Нурулла Рахманович, чем могу быть полезен. Однако, что в моих силах, возможностях — сделаю. Постараюсь.

И Галиакберов поверил: пообещал Байназаров — исполнит. Каких бы хлопот это ему ни стоило! А поверив — тут же проникся к адвокату благодарным, признательным чувством. Что бы там ни было, какие б трения ни случались меж ними — они просто-напросто следствие разных требований, что заключают в себе их профессии, прямо противоположные профессии: судья и за-

щитник! А если по-человечески... как у человека с человеком... разве он, Галиакберов, когда-либо сомневался в порядочности Байназарова? Не было такого! И сейчас лишний раз убеждается...

— Спасибо вам, Акрам Хамитович.

Пожимал изо всех сил, тряс легкую, как у мальчика, руку адвоката.

— Я пойду... до свидания, Нурулла Рахманович...

И когда Байназаров, все так же сутулясь, бочком, выскользнул из кабинета, Галиакберов долго в странном оцепенении — недвижно и бездумно — смотрел на дверь. Ныли, отзываясь ломотой, мышцы, словно только что закончил какую-то изнурительную физическую работу, при которой семь потов с тебя сходит... И уж потом, переборов приступ усталости, дивился, как это все же получилось: Байназаров взялся помочь! Он неожиданно высказал такую просьбу, странную, сам сознает, просьбу — и Байназаров согласился... Ему, отлично знающему душу Мансура Ардаширова, легче проникнуть в тайну задуманного тем преступления; и если Ардаширов вскоре будет обнаружен — адвокат узнает от него больше, чем любой следователь. А что — если Байназаров догадывается, где может прятаться этот самый Ардаширов, ведь когда-то он в подробностях изучил все связи, знакомства, привязанности своего подзащитного?! Вполне вероятно!

Остренькое постыдное ощущение, оставшееся после разговора с Байназаровым, все же слегка томило Галиакберова — и в этот час, и вечером, дома, однако он не поддавался ему, считая себя во всем правым, и, главное, убежденный, что адвокат не станет сомневаться в его искренности...

Байназаров же, оставив кабинет Галиакберова, чувствовал облегчение и... тоже некое томление на сердце. Ответив согласием на недвусмысленное предложение судьи, он, если рассудить, смалодушничал, как порой случалось с ним. Твердый, даже непреклонный в рабочих делах, он порой терялся, не умел устоять перед настойчивыми просьбами кого-либо из знакомых, искавших его помощи. Понимал, что лучше отказать, не та ситуация, где он, как адвокат, действительно должен сражаться за истину... и все же говорил «да». Конечно, потом мучился, переживал, кляня свою уступчивость, мягкотелость, застенчивость.

Правда, нужно заметить, соглашался помочь знакомым лишь тогда, если все же видел: пусть обременительны предстоящие хлопоты, совершенно ненужны ему, отвлекают от основных занятий — однако они не потребуют от него поступиться совестью, изменить святым для него принципам...

Восстанавливая мысленно весь ход разговора с Галиакберовым, он понял: судья, прикинувшись несчастным, в конце концов продиктовал ему, Байназарову, свою волю, и для беседы он приглашал, чтобы извлечь из нее определенную пользу для себя... Какую? Во-первых, Галиакберов отводил от себя удар, который мог бы последовать именно от него, Байназарова. Ведь история с его сыном как две капли воды напоминает не забытое ими дело Мансура Ардаширова, — дело, которое столкнуло их, судью и защитника, которое по существу выявило разность взглядов, позиций, а в конечном счете — понимания требований Закона. Судья

Галиакберов тогда, не желая вникнуть в суть тех причин, что привели несовершеннолетнего Мансура Ардаширова на скамью подсудимых, проявил жестокость, тупой педантизм, своим упрямым «диктаторством» в ведении процесса повлиял на решение суда. Мансур на суде вел себя по-мальчишески вызывающе, и это, надо понять, было ответом на резкость, открытую недоброжелательность и подозрительность, звучащую в вопросах и репликах судьи Галиакберова... Он, Байназаров, отлично — до мелочей — помнит тот злополучный процесс.

Тогда-то он решил, что будет избегать выступать на судебных заседаниях, проводимых Галиакберовым, потому что глубоко уверовал: Нурулла Рахманович из тех недалеких работников, которые неспособны мыслить широко и свободно, слепо следуют букве, параграфу, не умея или не желая видеть за ними живую жизнь, живые судьбы. Тот же параграф можно прочитать по-разному, ибо, подумать, он направлен прежде всего *не против человека*, а призывает бороться *за человека*. Недаром в нем пункты, примечания, пояснения: границы возможного наказания — «от» и «до» — довольно широкие, применять их надо обязательно с учетом личности человека, его будущего!

Задумывался ли когда-нибудь над этим Галиакберов? Вероятно... Но убедил себя, кажется: чем строже — тем всегда лучше, надежнее, тем меньше возможности ошибиться! Статья Кодекса позволяет — какие могут быть сомнения?!

Имелся еще один существенный мотив, из-за которого Байназаров избегал лишней раз встречаться с Галиакберовым. Знал, что тот в

подробностях осведомлен о его прошлом — тягостной странице в его биографии... Хотя Галиакберов никогда не позволил себе сказать об этом вслух — Байназаров каким-то шестым чувством улавливал его молчаливые намеки: мне, дескать, не забыть, что ты, защитник, сам когда-то стоял перед судом, и не потому ль ты такой «добренький» к правонарушителям, так рьяно выискиваешь оправдательные, смягчающие обстоятельства?!

Однако нельзя сказать, что он, Байназаров, ненавидит Галиакберова. Нет, он понимает всю особенную, ни с чем не сравнимую ответственность, что лежит на судье; понимает, что без строгости и определенной категоричности в суждениях и решениях на этой должности не обойтись... Галиакберова не упрекнешь в предвзятости, он действительно всегда опирается на положения Кодекса, и если б только поменьше волевого, «давящего» начала было б в его действиях — и побольше разумного, в пределах, сочувствия к жертвам печальных, вынужденных обстоятельств!.. Но уж, что бы там ни было, не обвинишь Галиакберова в нечестности, в желании угодить кому-либо тем или иным приговором, решением суда, — неподкупен, безупречен. Тут никаких сомнений быть не может. И потому, если соединить все вместе, — у Байназарова к судье Галиакберову сложное и, назовем так, обременительное чувство. Порой ему даже очень хочется что-то еще угадать в Галиакберове, что глубоко спрятано в том, но определяет его жизненную линию...

Кроме всего прочего, он признаёт за Галиакберовым право — именно вот такое право: считать, что на его, Байназарова, адвокатской дея-

тельности заметен драматичный ответ трагических событий, происшедших с ним в юности; что для него, Байназарова, не прошло бесследно, как сам он когда-то, подростком, вынужден был предстать перед судом, — и теперь вольно-невольно другие судьбы сверяет со своей, свое былое — с чужим настоящим... А разве не без этого? Считает так Галиакберов—значит, пронизательный... Значит, по нему, Байназарову, это заметно.

Та — из юности — душевная травма была столь сильна, что еще вопрос: зарубцевалась ли окончательно?

Препровожденный поначалу в детскую колонию, он долгие недели находился в странном шоковом состоянии. Ходил, ел, слушал, кому-то что-то отвечал, но все это неосознанно, вроде бы по привычке, по заведенной необходимости—а в нем самом было пусто, глухо, как бы начисто выгорело все, и хотелось забиться в темный тихий уголок, молчать, молчать, молчать... Насмешки, злые, обидные слова, оскорбительные тычки и подзатыльники таких же осужденных несовершеннолетних, как сам он, — не трогали его, как бы даже не замечались им; он лишь изумленно, непонимающе смотрел на обидчиков. И все решили: ненормальный или — на тамошнем жаргоне — *чокнутый, придурок*. А раз «придурок» — такое к нему и отношение! Безнаказанно поиздеваться, жестоко повеселиться...

Обеспокоенные воспитатели показали Акрама опытному невропатологу, тот потребовал немедленно перевести подростка в больницу. И немало времени прошло, пока больничная тишина, ласковая обходительность медперсонала,

терпеливое лечение вернули Акрама к прежней — как у всех — жизни. Но порой в ночные часы, содрогаясь, готовый в этот момент кричать, куда-то, неведомо куда, сорвавшись с места, бежать, — попадал он во власть повторяющегося кошмарного видения. Избитая пьяным отцом мать, плача, пятится к стене, отец, схватив с плиты кастрюлю с кипятком, с размаху выплескивает ее матери на ноги. Стонущий вскрик матери... И топор, который он, Акрам, видит у порога, прыжок к топору... жуткое, с белыми глазами, искаженное мучительной гримасой лицо отца, кровь, растекающаяся по грязному полу... От этого невозможно было уйти! Это изнуряло, преследовало, и когда кто-либо из врачей улыбался ему — он не мог ответить улыбкой: и не получалось, и просто не мог... *Не мог!*

Не знал он тогда, что *на воле* — за высоким, опутанным колючей проволокой забором колонии, за стенами больничной палаты — все время шла ожесточенная борьба за его судьбу. Что она из кабинетных стен выплеснулась на газетные страницы, вызвав многочисленные отклики читателей и вмешательство юристов самого разного толка. «Прав ли был мальчик пятнадцати лет, поднявший руку на своего отца-изверга?» Обсуждали в печати, споры вспыхивали на предприятиях, в учебных заведениях; и даже в трамвае, на стадионе, в сквериках, где собираются пенсионеры и любители поиграть в домино, говорили об этом же! Молодежная газета в большом — на два или три номера — материале в подробностях поведала о семье Байназаровых: отце — тиране; матери — темной, забитой женщине, доведенной издеватель-

ствами мужа до инвалидности; лишенных радостей детства двух девочек и мальчике, который, не выдержав, ударил отца топором. Убить не убил, правда, однако сделал пожизненным калекой.

Газета, рассказав, почему пятнадцатилетний школьник оказался на скамье подсудимых, по существу оспаривала суровый приговор народного суда, определившего Акраму Байназарову пятилетний срок заключения в колонии. Корреспондент в своей статье даже намекал, что тут не обошлось без определенного влияния родственников отца Акрама: еще задолго до процесса они настойчиво обивали пороги различных учреждений, всячески черня мальчишку и его мать, лжесвидетельствовали на самом судебном заседании...

Однако читатели и юристы, приглашенные за «круглый стол» редакции, пришли в конце концов к выводу: мальчик не виноват — он защищал жизнь матери. Отец — опустившийся пьяница с замашками садиста — получил то, чего искал... Можно ли оправдывать истязателя, быть на его стороне? И вскоре Верховный суд республики, вняв голосу общественности, пересмотрел приговор районного суда, освободил Акраму Байназарова от наказания. Но тот еще не сразу покинул больничную палату, полтора месяца потребовалось ему, чтобы более-менее твердо встать на ноги, чтобы врачи увидели его улыбку—робкую пока, но обещавшую избавление от страданий, от душевных мук...

Оказавшись же снова в поселке, среди знакомых людей, в окружении сверстников, Акрам почувствовал: как было прежде — тому не быть. Для одних он стал чем-то вроде знамени-

тости, другие же поглядывали на него исподлобья, едва ль не с презрением... Даже школьные учителя — и те разговаривали с ним смущенно, вроде б затрудняясь, как *теперь* относиться к нему, спрашивать с него. Прислала за ним машину молодежная редакция, и журналисты, вернувшись к острой для них теме, опять распалили жаркий костер: напомнили читателям, кто это такой, Акрам Байназаров, как благодаря их вмешательству восторжествовала справедливость... Юноша на свободе, он среди нас! Герой дня.

А дома — ненавидящие глаза искалеченного отца, и было больно видеть, как покорно, порабски старается угодить отцовским капризам мать, бегаёт ему за водкой в магазин, плачет за занавеской, но молча сносит его ругань и, как прежде, удары — правда, уже не в открытую бил ее отец, не при Акраме, исподтишка... И, конечно, вовремя вмешались чуткие ребята из обкома комсомола. Раздобыли для Акрама путевку в один из крымских оздоровительных лагерей, договорились затем, чтобы остался он там, пока не закончит десятилетку.

Лазурное море, мягкая природа юга, новая обстановка, в которой царствовали предупредительность и доброта, новые товарищи, прорезавшаяся вдруг тяга к чтению, к книгам — все это вместе сыграло свою роль: Акрам окреп, многое понял, словно бы после тягостного сна открыл для себя, как прекрасен и широк мир, и если случается зло в этом мире — оно порождено равнодушием! Именно равнодушие позволяет злу разрастись, окрепнуть, долго оставаться безнаказанным. Ведь на протяжении многих лет ежедневные пьяные дебоши, устраиваемые

в доме отцом Акрама, проходили на виду у поселковой улицы. Звенели разбиваемые оконные стекла, кричали перепуганные дети, бежала прятаться, вырвавшись из беспощадных мужниных рук, мать — в кусты, за соседский плетень... Но никто из этих соседей никогда не вмешался, не помог, не вступился, не остановил распоясавшегося «хозяина». «Семейное», дескать, дело, сами как хотят, пусть разбираются... ничего не слышим, ничего не знаем!

И когда он, Акрам, получил аттестат об окончании школы — для него не было вопроса, куда поступать. Только в юридический! Кажется: эта профессия даст ему те самые знания и то положение в обществе, когда он сможет бороться со злом и помогать несчастным... Конечно, лишь в годы ученья на юридическом факультете Московского университета, особенно когда побывал на практике, — он понял, что профессия юриста, представлявшаяся ему романтической, даже в чем-то героической, на самом деле держится на самых что ни на есть реалистических, строго очерченных принципах и установлениях, она не просто сложна — многотрудна, требует от работника высокой душевной чистоты и мужества.

По распределению он был направлен на целинные земли Казахстана — несколько лет работал следователем в районной прокуратуре, юрисконсультom на большом металлургическом комбинате, а затем остановил свой выбор на адвокатуре, видя в ней возможность лучше, полнее проявить свои силы и убеждения. Тянуло к «загадочному» юридическому материалу, суть которого можно выявить и обосновать лишь на основе кропотливого психологического

исследования, когда сам ты при этом — единственный автор и защитник доводов такого исследования...

В Уфу, на родную землю, вдали остро тосковавший по ней, Акрам Хамитович Байназаров вернулся уже опытным адвокатом: за плечами оставалось немало интересных, «выигранных» им процессов. Обрадовало, что здесь, в республиканской столице, забыли про мальчика из пригородного поселка, о котором когда-то шумно спорили на страницах газет и просто на улицах: новое время — новые события и заботы! Навек успокоившись, лежал в могиле отец, скончавшийся после одного из праздников от алкогольного отравления; зеленела трава на другой могилке — материнской: тихая, безропотная страдальца легла в сырую землю раньше мужа; сестры, выйдя замуж, разлетелись по дальним российским краям — одна в Саратов, другая на Сахалин... Конечно, когда Байназарова приняли в городскую коллегия адвокатов, кое-кто припомнил, что пережито им в юности, но, как говорится, что было — быльем поросло! И только Галиакберов — его «монументальная» фигура — несколько смущала Акрама Хамитовича... С затаенной значительностью, вроде б даже с превосходством поглядывал он на нового адвоката. Будто б намекал: другие — как хотят, а мне важно не забыть, *кто ты..* В свое время он, Галиакберов, тогда еще молодой, будучи стажером в прокуратуре, принимал участие в судебном процессе по делу несовершеннолетнего Акрама Байназарова.

Однако — сказано же: быльем поросло! И Акрам Хамитович просто старался лишний раз не встречаться с Галиакберовым; после же их

нервного столкновения на процессе по делу Мансура Ардаширова дал себе слово вообще не иметь никаких контактов со строптивым, упрямым судьей.

Дело подростка Ардаширова было как раз таким, при котором — видел он — требовалась именно твердая, принципиальная защита. Не *попытаться* защитить, чтобы снизить меру наказания, — убедить членов суда в *полной* невиновности подсудимого! Вернее, доказать, что его уголовный проступок — результат равнодушия одних людей и корыстного подстрекательства со стороны других... Но... победил Галиакберов. Это было одним из тех редких в адвокатской практике Байназарова поражений, которые, если все же случались, надолго выбивали его из седла, оставляя в душе горечь и мучительный стыд: не сумел, не помог!

И вот теперь — этот неожиданный разговор с Галиакберовым...

Можно предположить, что сын судьи (скорее всего!) стал жертвой искусно продуманного шантажа, удобной «игрушкой» в чужих руках. И Байназарову было жаль мальчишку: отец — сухарь, сама суровость, и если даже вся эта история закончится благополучно — нелегко будет им, отцу и сыну, строить свои дальнейшие отношения...

Тревожило еще вот что: неужели Мансур Ардаширов способен на такую тонкую и страшную месть? Чтобы ударить по судье — использовать доверчивость его сына? Хотя... время идет — люди меняются!

И уже что-то даже на любопытство похожее незаметно прорезалось: а как же, действительно, все произошло? Какова расстановка фигур в этом деле?

Возвращаясь к подробности разговора с Галиакберовым, Байназаров все больше и больше склонялся к тому, что если судья и был расчетлив при встрече с ним — этому могут быть оправдания... С одной стороны, он — обеспокоенный отец; с другой, никуда не денешься, — судья, обязанный высоко держать марку своей должности, заботиться о чести служебного мундира.

В этот же день Акрам Хамитович Байназаров побывал в райотделе милиции. По делу уже был назначен следователь — молодой, только что приступающий к самостоятельной работе выпускник высшей школы МВД по фамилии Галлямов.

Когда разговорились, Байназаров подметил, что Галлямов не просто в растерянности — обескуражен. Не знает, с чего начать, как подступиться к этой истории... Мальчишки, взятые под стражу, молчат. Мансур Ардаширов — в бегах. Но главное, что смущало следователя-новичка, — в качестве обвиняемого фигурирует сын известного в городе судьи, о котором к тому ж только что был опубликован в республиканской газете большой очерк. Галлямов догадывался, что все его действия по расследованию существа преступления после будут придиристо «перепроверены» Галиакберовым. Попробуй допусти какую-либо неточность, начни с неверного или сомнительного шага!

Во время беседы Байназарова с Галлямовым в райотдел прибежала мать Васи Малышева — немолодая, с помятым, испитым лицом женщина, причесанная кое-как, и даже густой слой

пудры не мог скрыть царапин и кровоподтеков под ее глазами. Не сразу разобрались, что она пьяна; и Байназаров, уже выйдя из милиции, все слышал, как она визгливо кричала на дежурного, обзывая его нецензурными словами, требуя, чтоб дали «свиданку» с «любимым сыночком»... Дежурный грозился отправить ее в вытрезвитель.

Малышева сразу же напомнила Байназарову другую женщину, которую он видел несколько лет назад, — мать Мансура Ардаширова. Как все похоже, и не те ли самые истоки жизненной драмы у подростка Васи Малышева, что когда-то открылись ему, Байназарову, при знакомстве с Мансуром?!

Он мог, конечно, попросить, чтоб ему позволили поговорить с Айратом и Васей, но — решил — пока не надо... Ребята и так выдержали натиск многих взрослых людей; не поддавшись им, хранят молчание. К этому их побуждают какие-то причины... Какие? Боязнь? Слово, данное тому же Мансуру Ардаширову?

Больше всего Байназарова волновал вопрос: действительно ли Мансур совершил акт своеобразного возмездия, «отплатил» судье Галиакберову, или тут случайное совпадение, никакой мести не подразумевалось? И потом: где скрывается он, Ардаширов? Почему скрывается? Ведь должен же знать, что рано или поздно милиция нападет на его след, он только усугубляет свое и без того незавидное положение...

И Байназаров, не без колебаний правда, вскочил на проходивший автобус — поехал в сторону городской окраины: туда, где в свое время жила семья Мансура, где он годы назад уже бывал!

Судьба Мансура тревожила и занимала его...

Стиснутый в автобусе чужими плечами, локтями, спинами, Байназаров ничего не видел и не слышал: перед ним как бы заново разворачивались полузабытые картины неприглядного быта семьи Ардашировых, когда-то сильно и больно поразившие его... Впрочем, сколько времени прошло, и кто знает, что теперь случилось с ними. И живут ли по прежнему адресу?

Припомнилось, как мать Мансура, от которой разило водкой и чесноком, пьяно ухмыляясь, грозила ему пальцем: «Чего ходишь, нюхашь? Зачем тебе наш мальчишка?»

Дочь, с такой же, как у матери, пьяной ухмылкой, сидела за грязным — с пустыми бутылками и объедками — столом, и косила глазами на свободный табурет: присаживайся, я не против! Было ей лет восемнадцать, или меньше даже. Байназаров знал, что она, рано бросив школу, стала, подобно матери, завсегдатаем рыночной толкучки: что-то они перепродавали, кому-то помогали, зазывали к себе на ночлег... Потом смазливую девчонку увез с собой стареющий кавказец, доставлявший с юга на продажу фрукты, но через год она вернулась — и теперь уж совсем на равных «промышляла» с родительницей-алкоголичкой: с кого б рубль-другой сорвать. Причем дрались меж собой, скандалили, и милиция не раз вмешивалась, «успокаивала»: то дочка «нечаянно» обварила мать кипятком, то мать, не оставшись в долгу, залепила спящей дочери волосы смолой... Участковый инспектор измучился с ними: уговаривал, грозился, мечтал об одном — как бы выселить с улицы.

В такой вот обстановке и рос Мансур, вначале школьник, с грехом пополам переползавший из класса в класс, а то и остававшийся на второй год; затем, недолго, заводской ученик... Жил ли он дома, в семье? Он приходил сюда, чтобы поесть, если, разумеется, что-то оставалось на столе после бурных сборищ, и вкус водки и вина из недопитых бутылок был узнаваем рано, и курить, не таясь, он стал лет в десять — двенадцать... А ночевал где придется: у дружков, в пустых рыночных павильонах, на чердаке, устроив там что-то вроде теплого логова.

Был отец еще. Тоже опустившийся, расслабленный алкоголем человек, подрабатывавший грузчиком в магазинах и торговых складах. Жена и дочь выгоняли его из дома на улицу — чтоб не мешал им...

Беседуя позже с Мансуром, добившись исподволь, что тот стал откровенным с ним, Байназаров с грустью думал: какая светлая голова у парнишки, какая живость, гибкость ума — учиться б ему, работать в хорошем коллективе, жить бы так, как живут его сверстники! Он был убежден: судебный процесс мог стать для Мансура предостерегающим уроком на долгие годы; наказанный условно, оставленный на свободе, подросток, чувствуя со стороны общественности заботу, внимание, контроль, сумел бы твердо встать на ноги... Стоило лишь оторвать его от пагубной среды, направить по нужному пути! Об этом Байназаров убедительно, как представлялось ему, говорил на процессе в своей речи. Но суд, увы, вынес неожиданно строгий приговор.

С тех пор Байназаров не встречал больше

своего подзащитного — в тот день прямо в зале суда взятого под стражу, усаженного конвоем в спецмашину с зарешеченными окошками... И вот теперь он ехал к знакомому дому, испытывая сильное волнение, словно ему заново предстояло вступить в борьбу за лучшее будущее в несчастной судьбе Мансура Ардаширова.

Сойдя с автобуса на конечной остановке, он стал спускаться узкой тропинкой по крутой — к маленьким домишкам, лепившимся по склону огромного оврага. Неистово и разноголосо заливались лаем собаки из подворотен. «Сорвешься — убиться можно, — подумал Байназаров. — Как они ночью тут пробираются?» Цепкие ветви кустарниковых зарослей цеплялись за брюки. «А ведь считается: улица, — снова подумал Байназаров. — И название есть: Заовражная. А где дом Ардашировых — Овражный тупик. Через год-другой снесут, конечно, эти хибарки. Переселят людей. Тут вроде б по генплану парк будут разбивать...»

Домик Ардашировых завалился на один угол, совсем обветшал: проржавевшая, давно не крашенная крыша, и поверх жести — рубероидные заплаты, подернутые зеленью мха; выпирающие, подгнившие венцы, скособоченное, с обломанными ступенями крылечко... Да живет ли кто нынче здесь?

Байназаров постучал в дверь, затем в темное, завешенное грубой мешковиной оконце. Никакого ответного звука! Хотел уже было, разочарованный, уходить, но внезапно внутри жилища послышался скрип рассохшихся половиц, тут же из сеней прозвучал хриплый и недовольный мужской голос:

— Ктой-то там еще?

— Откройте, — сказал Байназаров, не зная, как лучше ответить.

Гроыхнул засов, и перед взором Байназарова предстал обросший густой щетиной человек, в неряшливой рубахе с оборванными пуговицами, в калошах на босу ногу. Щуря заплавленные глаза, колючие, злые, позевывая, переспросил он:

— Чевой-то еще?

Заметно было: с тяжкого похмелья мужик — мучается, весь мир для него в черных красках.

Байназаров силился припомнить, как же звали мать Мансура.

— Я хотел бы видеть... хотел бы видеть Галиму Батыровну. Да! Галиму Батыровну.

— Спихватился! — Мужчина сплюнул себе под ноги, пошаркал калошей по земле. Подавляя зевоту, сообщил: — Умерла Галима.

— Давно?

— Года два будет...

— А муж?

— Вагиз, что ль?

— Он, Вагиз...

— В командировке! — Мужчина ощерил в недоброй ухмылке желтые прокуренные зубы. — На дальних землях, стало быть...

— Ну-ну... А вы кто ж — в чужом доме-то?

— А ты чтой-то за такой допросчик? Я, к примеру, ихний сродственник. Вот. А ты... пшел отсюдава! Надоели... перед каждым-всяким...

— Полегче, — Байназаров брови сдвинул, нахмурился. — Я из коллегии адвокатов...

— Адвока-а-ат... гражданин начальничек!

— Не паясничайте. Нет старших — Мансура б увидеть...

Открытая ненависть передернула лицо мужчины, бросил он с вызовом:

— Хватит темнить-то... адвокат! Ваши уж два раза сюда совались, нюхали. А я говорю: нет Мансура. И не видел его! Он же в общежитии живет, чего ему здесь... Оставьте меня в покое, гражданин начальник! Нечего мне лепить... и без вас тошно...

Ударил по двери ногой, скрылся в сених.

Байназаров чувствовал: затаился там, ждет.

Сказал Байназаров, четко разделяя слова:

— Пусть так. Однако если объявится Мансур — передайте ему, что плохое он дело заварил. Лучше пусть не бегаёт. Передайте: его знакомый адвокат Байназаров советовал...

Из-за двери донеслось с угрозой:

— Пшел ты отседова... адвокат!

Вечерние блики подсвечивали розовым узкие окошки скособоченного домика, предзакатное солнце словно б с любопытством заглядывало с высокого неба в этот глубокий, исчерченный по склонам кривыми тропинками овраг... Байназаров, вздохнув, пошел прочь. Он уже вроде б даже забыл, что действует по просьбе Галиакберова. Сам, по своей воле и внутренней потребности...

К вечеру следующего дня Байназаров поехал на другой конец города — туда, где закладывались новые корпуса нефтезавода. Следователь милиции Галлямов говорил ему, что последнее время Мансур Ардаширов работал в бригаде отделочников, занятой сейчас на одном из нефтезаводских объектов. И прописан он

был — правильно утверждал небритый «сродственник» Ардашировых — в общежитии строителей.

Чем больше размышлял Байназаров о нескладной судьбе своего бывшего подзащитного, тем сильнее ощущал свою вину перед ним. Как ни пытался — не сумел оградить его от заключения, от колонии! Тогда, в то время... Хотя, кажется, приложил все силы, всю энергию, на которые способен только был.

А попал Мансур в колонию, взяли его там в обработку матерые ловцы податливых душ, «компаньоны» по нарам, — и покатился паренек — дальше, дальше, и вниз, вниз... Немало тому примеров знает Байназаров, как безнадежно меняются люди, побывавшие в заключении, — особенно те, у кого судебный приговор вызывает не раскаяние, а, наоборот, обиду. Обида рождает ожесточение...

Но Мансур, придя в коллектив строителей, вроде бы напроць «завязал» с прошлым, отдалился от своих сомнительных дружков; в характеристике, затребованной милицией из строительного-монтажного управления, — о Мансуре Ардаширове сказано как о дисциплинированном, исполнительном рабочем, который к тому ж учится в вечерней школе и является активистом художественной самодеятельности: выступает в составе концертной бригады СМУ. Значит, прочно, основательно вошел в новую для себя жизнь.

И — этот случай?!

Как объяснить?

...Байназаров долго ходил по строительной площадке в поисках комсомольско-молодежной бригады Сорокиной, в которой значился Ман-

сур. Гудели самосвалы с колыхающейся массой жидкого бетона в кузовах; полубовато искрились огни электросварки; и голоса, голоса — требовательные, грубовато-зазорные, веселые, насмешливые... Столько людей, столько разных лиц!

Девушка в заляпанном растворе комбине-зоне, свешиваясь с лесов, крикнула ему, смеясь:

— Эй, дядечка, плакали твои замшевые!

Он посмотрел на свои туфли, перемазанные известью, глиной, вроде б даже мазутом, — засмеялся в ответ, рукой махнул; спросил:

— Как мне Шуру Сорокину найти?

И понеслось над коробками кирпичных стен с пустыми оконными проемами, над машинами и горами строительных материалов:

— Шура-а-а... Сорокина-а-а!.. ра-а... на-а-а!..

Стоголосое несмолкаемое эхо.

До тех пор, пока перед Байназаровым не оказалась рослая девушка в такой же, как у всех тут, перемазанной спецодежде, в пестрой косыночке поверх золотистых волос, с теплыми, небесной голубизны глазами и милыми ямочками на припудренных цементной пылью щеках.

— Я это... бригадир Сорокина.

Но стоило Байназарову произнести имя Мансура — сразу будто темное облачко нашло на красивое лицо Шуры, вроде б даже враждебность обозначилась на нем; хмурясь, сказала она:

— Я ж вчера говорила, что никто у нас не знает, куда подевался Мансур... А вы лучше б не просто ходили, узнавали — объяснили б, почему ищете, что произошло. В открытую — не намеками! Мы тоже в бригаде волнуемся. Он же наш, из бригады. Чего скрываете, темните?

«Это Галлямов, конечно, был здесь, — поду-

мал Байназаров, — узнавал. И меня за розыскного сотрудника принимают. Право, совсем уж нелепо!» Произнес как можно мягче:

— Шура, прошу вас... надо поговорить. Спокойно чтоб. Я объясню сейчас...

— Чего мне объяснять, когда вы с подозрением! Считаете, мы скрываем... а мы не скрываем, честное комсомольское! И не такой он вовсе Мансур, как вам кажется!

— Подождите, Шура, подождите...

А сам думал: «Это Галлямов, видно, по неопытности да с наскока дров наломал, на повышенных тонах тут разговаривал... А как она, Шура, про Мансура: «...не такой он вовсе...» С каким чувством это сказала, с какой болью!»

— Тут вот в чем дело, Шура: я адвокат, который когда-то на суде защищал Мансура. Так получилось, что мы тогда хорошо, близко познакомились. К сожалению, после я не встречал его... От вас, товарища Мансура по работе, хотел бы узнать, каков он стал и, главное, почему вот снова... понимаете меня?

Шура Сорокина молчала, но Байназаров видел: ледок настороженности и недоброжелательства в ее ясных глазах таял.

— Света-а-а! — подняв голову, крикнула она — куда-то к высоким, нависшим над ними этажам. — Скоро приду. Сама позвони диспетчеру... ладно?

— О-о-о-о! — донеслось с верхотуры через шум и гул строительства.

— Пойдемте за забор, там потише, — сказала Шура.

Молча обходили завалы из щебня, грязные лужи, подернутые тусклой маслянистой пленкой. Бульдозерист, копавшийся в двигателе, блеснув золотым зубом, громко бросил им:

— С ухажером в лесок, Шурочка? В кусты-ки!

Смотрел, ухмылялся...

Шура и бровью не повела.

«Гордая, — отметил про себя Байназаров, — цену себе знает. И не удивительно: с такой-то девичьей статью!»

Выбрались за территорию стройплощадки, огражденной тесовым заборчиком, по-прежнему молча миновали зеленый низинный лужок, и за невысокими кустами вдруг серебристо блеснула речная гладь. Излучина Белой! Живописный, тихий уголок... Выкрашенный в светлые тона пароход плыл по реке, зеркально посвечивая круглыми иллюминаторами; солнечная дорожка стелилась за ним. И даль, убегающая от противоположного берега к горизонту, тонула в нежной, акварельной синеве, кое-где осветленной золотыми лучами.

— Как здесь красиво! — вырвалось у Байназарова, тут же, впрочем, устыдившегося этой своей сентиментальной несдержанности. Расчувствовался — «лирик»!

Но Шура приняла это, наверно, как должное; обронила:

— Люблю это место.

После недолгой паузы посчитала нужным уточнить:

— Всей бригадой любим.

— И Мансур любил... любит? — спросил Байназаров. — Если всей бригадой — и он, значит?

— И он, — Шура, отвернувшись, скрывая, кажется, внезапную смену выражения на своем лице. И вдруг быстро, взволнованно заговорила: — Нет, выдумки... Мансур не преступник. Не верю! И не знаю, что... Исчез ведь! Никому ни словеч-

ка... Было б известно что — от милиции не скрыли б. Честно... Не надо им с нами в прятки играть. Обидно ж! Найти Мансура — это прежде всего ему же самому помочь... точно?

— Совершенно правильно.

— Присядемте...

— С удовольствием. Конец рабочего дня — отвлекаю вас от дела, Шура...

— А у вас — не дело?

— То-то и оно... Загадку загадал Мансур.

— А что вы хотите узнать о нем?

— Давным-давно, говорю же, потерял его из виду. Какой он сейчас — посмотреть бы. И как работник... Вы же, Шура, бригадир. Лучше других видели...

Шура пожала плечами; отвечала, но думала в этот момент о чем-то другом — отрешенным, грустным было ее лицо.

— В бригаде он — на все руки. И паркетчик, и маляр, и слесарем-сантехником мог... По самому высокому разряду — за что ни брался.

— Когда же успел? — удивился Байназаров, тут же поняв, что дал маху: ему ли, юристу, не знать, что в колонии при желании и охоте можно любую рабочую специальность освоить. Притом если парень смысленный, жадный до дела, как он, Мансур...

— Хорошо, выходит, трудился?

— Нормально.

— Ценили, следовательно?

— Следовательно, так.

Разговор загасал, не разгоревшись.

— Шура, что еще можете о Мансуре... мне это очень важно. Очень!

— Господи... а мне?.. а нам?!—И слезы брызнули у нее из глаз, однако она быстро справилась с ними; почти сердито сказала: — Да

откройте ж наконец: что же натворил-то Мансур?

— Ничего не знаете?

— Откуда?! Этот ваш товарищ... иль не товарищ... из милиции... одни намеки и недомолвки! Так допрашивал, так взглядом сверлил, словно никакого доверия нам нет. Индюк какой-то! Честное слово. И дал понять, что вроде б Мансур магазин ограбил, но его... как это?... накрыли... да!.. и он скрывается поэтому. Но не мог... не мог Мансур пойти на ограбление! Уж я-то успела увидеть, что он за человек. Подумаешь — прошлое! Надо судить, какой он сейчас... правда? Тогда он был мальчишкой, а сейчас взрослый! Не мог...

При последних словах Шура всхлипнула, и опять потребовались ей усилия, чтоб овладеть собой. «Вот так история, — думал меж тем Байназаров. — Да тут не только бригадирство... любит она его, кажется. Это же чудесно! Тем более тогда... почему он выкинул номер с чеками? В бригаде у него все отлично... любовь такой девушки еще... почему же, черт возьми!»

— Можно только радоваться, Шура, что вы верите в Мансура, — задушевно произнес Байназаров. — Я вот тоже верю.

Она бросила на него благодарный взгляд; прошептала:

— Бывает же: натворит один — подозревают другого. Раз когда-то был в заключении — прежде всего на него...

— Шура, — спросил Байназаров, — в характеристике я прочитал, что Мансур — ваш самодеятельный, так сказать, артист. Помню, он любил мурлыкать под нос всякие песенки... по чтоб голос — не почувствовал я тогда. Что — хорошо поет?

— Еще как! — Шура оживилась, щеки у нее порозовели — то ли в смущении, то ли от волнения. Какой-то миг она колебалась, раздумывая, говорить ли, нет... И, все же решившись, стала вдруг рассказывать, как однажды — Мансур месяца еще в бригаде не работал, приглядывались к нему, он к ним, — услышала она издали, что вот на этом самом месте, где сейчас сидят они, кто-то поет, и голос сильный, широкий, красивый. Обеденный перерыв был, и пошла она на этот голос — в удивлении и с любопытством: кто же это такой? Оказалось: он, Мансур! Засмущался, оборвал песню...

— И что же? — тоже испытывая непонятное волнение, нетерпеливо спросил Байназаров.

— В тот день мы впервые поговорили по душам, многое открылось мне, — тихо сказала Шура. — А после... после здесь не раз вместе пели!

Она засмеялась — вроде бы с вызовом даже. Однако Байназаров уловил, какая тоскливая горечь была в ее смехе... Мысленно сказал себе: «Как дорог ей этот речной обрыв — и меня сюда привела. словно легче ей тут, словно Мансур рядом, ближе...»

— Странная история произошла, — начал он медленно, стараясь подобрать точные, убедительные слова. — Именно странная, Шура... В тот, первый раз Мансур был арестован за подделку чеков, а вернее — за попытку получить в магазине товар по поддельному чеку. Сам он, мальчишка, не мог до такого додуматься: его подтолкнули, им руководили. Но вот беда: подстрекателя-то не выявили! И с Мансуром Ардашировым поэтому обошлись крутовато. Как, конечно, мне, адвокату, его защитнику, представляется... Я после обращался в более высокие инстанции,

дело пересматривали, срок сократили до минимума, но Мансур... в ожесточении, опять под влиянием, видно... совершает побег! Готовились документы о его освобождении из колонии — а он в побег! Естественно, новое наказание... Однако я немного отвлекся.

— Мне все интересно! — Шура порывисто подалась к нему — и мольба в ее глазах: рассказывайте, рассказывайте...

— А теперь, Шура, повторилась та, прежняя ситуация. То есть почти такая. Но сейчас уже получается, будто сам Мансур выступает в роли подстрекателя... он вложил поддельный чек в руки мальчишек!

— Да что вы?!

Шура побелела как мел.

— Парнишки, что подали поддельный чек продавцу в ювелирном магазине, находятся в КПЗ. Молчат. Возможно, не желают выдавать Мансура... Но в милиции... по почерку... и раньше видели мальчишек этих с Мансуром... умеют они, в общем, в милиции... установили: без Ардаширова не обошлось тут! А он — нате вам! — сразу же сгинул. Опять не в его пользу. Но и это, Шура, не все еще... Один из мальчиков, что попался в магазине, сын того самого судьи, что выносил приговор Мансору...

— Неужели?!

— И все это наводит на предположение, что Мансур специально впутал мальчишку в грязную историю, чтоб таким образом отомстить судьбе...

— Мансур?! — ужас был в широко раскрытых глазах Шуры, и, как бы защищаясь, подняла она к лицу руки, заслонила ладонями: — Нет, нет!

— Успокойтесь, ради бога. Это ж пока, Шу-

ра, гипотеза, предположение. Может, совсем не так... Однако сколько мы ни гадай, ни вздыхай — делу этим не поможешь. И не мне, адвокату, понимаете, наверно, ходить вот так, разбираться, выяснять... На то есть следственные работники. Один из них, кстати, был у вас. Докопаются они до сути... несомненно. Но мне, Шура, как человеку, знавшему Мансура, когда-то пытавшемуся помочь ему... мне просто необходимо понять: что произошло? Что! И надеюсь, Шура, на вашу помощь...

— На мою?

— Да. Вы же хотите ему добра... так? Вижу, для него вы человек не чужой... не краснейте, Шура, я искренне, всем сердцем за вашу дружбу...

— Но что я могу?

— Скрываться Мансуру не только бесполезно — рано или поздно его все равно найдут... но чем позже — тем хуже!

— Вы так говорите, будто я знаю, где он... Как тот следователь!

— Ну что вы, Шура... Я просто оставляю вам свой адрес, телефон. Если что... посоветоваться, или помощь потребуется... найдите меня.

Вытащил из кармана записную книжку, вырвал листок, написал на нем... Шура, не читая, сунула бумажку за тугой обшлаг комбинезона.

— Извините, Шура, но что делать... вернее, давайте что-то делать! И пойдемте... заждались вас теперь в бригаде.

— Подождите... Я вот что вспоминаю...

И она рассказала Байназарову, что три-четыре раза приходил на стройку к Мансуру какой-то парень в кожанке — с нагловатыми, бегающими глазками, с косой челкой, и пальцы у

него синие, в сплошной татуировке. Мансур, за-
видев его, хмурился, терялся похоже, и когда
тот парень, пошептавшись, уходил — Мансур
долго оставался замкнутым, мрачным, работа
валилась у него из рук. На ее вопрос, кто это,
Мансур неохотно ответил: «Вместе срок лома-
ли...» А однажды — воскресенье было — пошли в
кино, вдвоем, она и Мансур, и по дороге Мансур
сказал, что надо на минутку-другую заскочить
к Косому. Да, так он назвал того парня в ко-
жанке — Косой. Зашли вместе — дом этот на
«Архиерейке», она помнит его, — и Косой пред-
лагал выпить, посидеть, но они ушли. Мансур
только поинтересовался у Косого, не вернул ли
какой-то их общий приятель долг, и Косой ска-
зал, что нет. Еще спросил, не нужна ли Мансу-
ру квартира — сестра, мол, уехала, а квартира
на целый год пустая. Мансур ответил: «Я в об-
щежитии... привык и веселее там!»

— Шура, — внимательно выслушав, сказал
Байназаров, — а может, нам вместе сходить ту-
да... на «Архиерейку»?

Шура покачала головой:

— Вам не надо. А я схожу...

— Одна?

— Зачем же. Парни из бригады на улице
ждать будут, посторожат. У нас славные ребя-
та... А я поговорю там... Косой же видел меня с
Мансуром, знает...

— Ну что ж, Шура, и вправду — не там ли
кончик ниточки? Однако боязно — тебе к Ко-
сому...

— Я же говорю — с ребятами. Такие ре-
бята — бояться нечего. Честно... До свидания,
Акрам Хамитович. Не перепутала — так вас зо-
вут? Идите... А я еще немного постою тут, хо-
рошо?

Как и прежде, утро в квартире Галиакберовых начиналось рано. Лишь только раздавался звонок будильника, поставленного на шесть часов, Нурулла Рахманович быстро выбирался из-под одеяла, распахивал настежь окно, делал несколько энергичных приседаний и наклонов, полагая, что для человека его возраста этого вполне достаточно. Затем он принимал прохладный душ, долго, пыхтя, постанывая от удовольствия, вытирался — до багровой красноты на теле, и когда выходил из ванной комнаты, Рамзия уже успевала накрыть стол для завтрака.

Втайне Галиакберов даже гордился многолетним постоянством своих утренних моционов, спрашивал, случалось, у кого-либо из своих коллег, кто выглядел поутру утомленным:

— А вы не занимаетесь гимнастикой? Зарядку после сна не делаете? И обтираниями пренебрегаете? Зря, зря!.. — Добавлял назидательно: — Это очень полезно... и важно!.. особенно для нашего брата.

И в эти дни Нурулла Рахманович не изменил своей привычке. Но вот поднялся с постели, приседает, наклоняется — а движения вялые, никакой радости не доставляют ему; и под душем, когда отрегулировал струю из крана, ежил-ся, закончил процедуру кое-как, наспех... Не в удовольствие: обязательство исполнил — и ладно.

Завтракая, тоже спешил...

Скорей бы из дому!

Не может он сейчас, особенно утром, перед началом рабочего дня, долго оставаться с женой наедине—в молчании или таком разговоре,

когда оба знают, чувствуют: это слова ради самих слов, слова-прикрытия, лишь бы что-то говорить... В глазах же Рамзии—выжидательный, неуходящий вопрос, похожий на укор: и что—таки будет Айрат в милиции, а потом суд? Так и будет, да?!

Какой уже день — в напряженном ожидании будущих событий... А они развиваются удручающе медленно. И развиваются ли? Мансура Ардаширова еще не задержали, он — по всему — укатил куда-то. Ищи-свищи! Бывает, не недели, не месяцы — годы на это требуются. Человек—песчинка в необъятном людском море... Давно—в случае с Мансуром Ардашировым — он, Галиакберов, настоял начать процесс над подростком, не дожидаясь, будет ли пойман или нет тот, кто стоял у истоков преступления, готовил его, кто по существу должен был фигурировать на суде обвиняемым номер один. Теперь-то Нурулла Рахманович понимает, как ошибался тогда! И если сейчас Ардаширов, мстя ему, Галиакберову, решил надолго скрыться — дело примет дурной оборот. Или же процесс над Айратом и Малышевым начнется сразу же после того, как милиции станет ясно, что Ардаширов надежно замел следы; или ребят продержат под стражей неопределенно долго. И то и другое сильно било по нему, Галиакберову. Еще вчера надежная, твердая почва под ногами стала вдруг зыбкой; все, что накануне представлялось значительным, было окрашено в розовый цвет надежд, — как бы сместилось, потеряло первоначальный смысл. Очерк в газете... звонок секретаря райкома... предстоящие выборы... Как теперь относиться ко всему этому, как — главное — к нему самому будут теперь относиться... отнесутся?

Подтачивалось, незаметно расплывалось то

вечное, казалось бы, непререкаемое чувство прямо-таки олимпийского спокойствия и уверенности, что владело им всегда... Он словно бы со страхом прислушивался к самому себе. И спрашивал себя: как удержаться? Что будет?

А тут еще — вопрос во взгляде раздавленной горем Рамзии... Второй хирург в больнице — Александр Филимонович — вылечил, к счастью, свою поврежденную руку, и Рамзия избегала в эти дни делать сложные операции. Но в больницу спешила так же, как муж — в суд. Задержаться дома было невыносимо: стены — и те давили! Упросив все-таки мужа, побывала она в милиции — повидалась с Айратиком. Слезы, застилая глаза, не давали ничего видеть, а сын, бледный, с глубоко запавшими глазами, твердил: «Мамочка, не спрашивай меня ни о чем... не спрашивай! Знай только, я не хотел, чтоб плохо было... я не такой, мамочка!»

Когда Рамзия рассказала мужу, каким нашла сына, тот угрюмо обронил:

— Лучше б было, чтоб он себя веселым чувствовал, так, что ли?

И отвернулся, показывая тем самым, что у него нет желания говорить об этом дальше...

Сегодня за утренним завтраком — похожее получилось.

— Нурулла, — сказала Рамзия, — я соберу еду, отнесу *туда*... По дороге на работу...

— Голодает *там* твой сынок, — язвительно ответил муж, резко отодвинув от себя стакан с чаем. — Как же, на родительских харчах плохо ему было — на арестантскую похлебку потянуло... Чего добился — то имеет! Не смей!..

И, не дав ей опомниться — хлопнул дверью, ушел.

Спокойный вид утренней улицы, свежий ветерок, порывами долетавший с близких отсюда берегов Белой, незаметно погасили раздражение Галиакберова, и он уже сожалел, что нагрубил Рамзии. У него самого сердце, не переставая, щемит, а она — мать. Что у нее-то теперь на сердце?!

Вчера рассказала ему, что Айрат, оказывается, дружит с девушкой, своей одноклассницей. Фарида — так, кажется, зовут ее... Вырос, значит, если уже девушка рядом, у плеча... Вырос — и где сейчас? В «предварилке», за решеткой! Вон пареньки и девочки — в ученической форме, с белыми воротничками — в школу бегут. Веселые, смеются... Экзамены! А он, Айрат, под замком. Заскрипит ключ в том замке, войдет в камеру дежурный милиционер, окинет насмешливым взглядом нары, бросит: «А ну, Галиакберов, берись за парашу... выноси! Духотища-то у вас — не продыхнуть! Малышев — за уборку!»

У Галиакберова — представил только это — кровь к затылку гудяще прилила; он круто свернул в проулок — лишь бы мимо школьного здания не идти.

Что ни говори, все эти дни он живет под обстрелом глаз, словно б очутившись в ярком фокусе скрещенных прожекторных лучей, тогда как все окружающее тонет во мгле... Такое ощущение, что он — обвиняемый, которого судят молчаливые взоры окружающих людей, их тихий, но негодующий шепот. И уже подкрадывается упрямая мысль, подкрадывается, как он ни старается гнать ее прочь: не отказаться ли ото всяких притязаний на баллотировку, не оставить ли навсегда знакомое, ставшее родным и чуть ли не обя-

зательным служебное кресло? Не знакомые доселе сомнения одолевают по ночам, когда не спится, когда просто не до сна...

И главное, что особенно поразило, встревожило его: нет былой твердости, уверенности при рассмотрении даже простых, «текущих» дел... Выносит решение—и будто б оглядывается! На что, на кого? Черт ее знает... но такое чувство — оглядывается!

Вот сегодня вести ему бракоразводный процесс... Заурядная, похожая на сотни других бытовая ситуация. В заявлении: разлюбили друг друга! Дурость, распушенность? Он вообще считает что разводятся или легкомысленные люди, или бесхарактерные. И никогда не отказывает себе в удовольствии прочитать на суде нотации разводящимся супругам—чтоб они посмотрели на себя как бы со стороны, устыдились бы.

Сам Галиакберов, конечно, не в состоянии даже вообразить себя в такой вот роли: разводить... Чтобы Рамзия с сыном ушли от него? Чтобы он оставил их?! Нет, они прочно... как бы это? прочно числятся за ним. Он глава семейства кормилец, поилец. Пусть у Рамзии зарплата не меньше, но в зарплате ли дело? В устойчивом сознании: семья... ответственность за семью! Перед самим собой, перед государством, в конечном счете...

Думы Галиакберова были прерваны громким приветствием:

— Нурулле Рахмановичу — доброе почтение!

Коллега, судья из другого городского района Алтынбаев. На круглом, как луна, лице—белозубая улыбка. Маленький, толстенький, не идет будто колом катится. Откуда его некстати вынесло!

— В присутствии, так сказать... на работу, Нурулла Рахманович?

Догонял — не отдышится никак...

— На работу... да.

— А я гляжу — Галиакберов шествует. Дай, думаю, на буксир прицеплюсь... Утро-то какое! Красота!

— Да... утро. — Галиакберов поморщился. — Однако должен... прошу прощения... мне вот сюда. Зайти должен...

И он, как до этого было перед зданием школы, снова повернул в переулок. Лишь бы не тащиться по тротуару с бодрячком Алтынбаевым! Тот крикнул в спину:

— Нурулла Рахманович, вчера только из командировки я... с запозданием хоть — но поздравляю! С очерком в газете. Шикарно про вас написали!

Галиакберов, не оборачиваясь, неопределенно махнул рукой. С ожесточением подумал: «Прикидывается, поди, что не знает про историю с Айратом... Ишь ты — поздравляет... Поздравлять меня сейчас — все равно что насмеяться надо мною!»

Личных отношений между ними, можно считать, никаких нет. При встречах — «здравствуй» да «прощай»... Каждый — в своем районе. Но Галиакберову известно: если в среде юристов заходят споры о разных методах ведения судебных процессов, как два полярных полюса берутся они — Алтынбаев и Галиакберов! Он, Галиакберов, выступает в роли такого «столпа закона», неуступчивого «слуги кодекса», Алтынбаев же почитается как тип «гуманного судьи», для которого прежде всего важна «психологическая сторона» дела, внутренние мотивы и обстоятельства преступления, и он будет долго, дотошно копаться в материалах, опросит десятки свидетелей, даже,

казалось бы, третьестепенных, прежде чем решится вынести приговор. Конечно, Галиакберов обиделся бы, заяви ему кто-нибудь, что он на процессах не старается вникать в существо правонарушений, глух и равнодушен к искренней «исповеди» обвиняемых... Но, с другой стороны, он сам не возражает против того, что так оно и есть: в своих действиях неукоснительно придерживается буквы Закона. Растрата, убийство, воровство, халатность, злоупотребление служебным положением и т.д. и т.п.—всему есть четкое, строгое определение в государственных законоустановлениях, и если один преступник покаянно льет слезы, другой вызывающе молчит — разницы меж ними, убежден Галиакберов, мало: в Кодексе не имеется поправок, ссылок и указаний насчет слез! Он знает назубок все статьи, может настолько свободно оперировать их пунктами, подпунктами, параграфами — коллеги диву даются! Никто — пусть это будет самый дотошный буквоед — не отыщет в его рассуждениях и доказательствах хотя бы малейшей ошибки, мельчайшего отхода от железных требований всеобъемлющего и непререкаемого Свода законов. Не бывало такого...

И Галиакберов, продолжая свой путь, выбираясь из тупичков кривой, в деревянных домишках улицы, незаметно для себя успокоился, и прежнее выражение появилось на его лице — хмуровато-озабоченное, полное достоинства и твердой силы. По привычке, должно быть.

22

Не успел Галиакберов просмотреть, по обыкновению, свежие газеты и почту нового дня, адресованную ему, судье,—завонил телефон. Адвокат Байназаров!

— Как самочувствие, Нурулла Рахманович, как ваши дела?

Ох уж эта привычка начинать разговор изда-лека! Но деваться некуда... А по едва заметному дрожанию голоса адвоката чувствуется: взволнован, есть у него, чем порадовать или поразить. Что-то разузнал!

— Какие мои дела, Акрам Хамитович,—медленно, растягивая слова, отвечал Галиакберов, внутренне готовя себя к любому неожиданному известию.— Заколдованный круг...

— Круг может разорваться, Нурулла Рахманович.

Пауза.

«Ну говори же, говори, Байназаров, что ты нешь?!»

Молчит.

Сам снова вынужден был сказать — со вздохом, вкладывая сомнение в голос:

— Не вашими ли стараниями, Акрам Хамитович? Не вы ли... э-э...

— Не я, нет. Это сделает Мансур Ардаширов.

У Галиакберова трубка чуть не выпала из пальцев.

— Что?! Поймали подлеца?

— Ну зачем же так сильно... Нурулла Рахманович? — с укоризной заметил Байназаров. — Он сам явился. С повинной.

— Ах, с повинной! Конечно, куда б он делся!.. Нынче как? В мышинной норе найдут.

Галиакберов не думал славаться, уступать, хотя понимал — адвокату его тон не по душе. И Байназаров действительно сухо, даже с открытой неприязнью сказал:

— Очень жаль, что эмоции... болезненное, простите, самолюбие... мешают вам оставаться

объективным... как надлежит человеку вашей должности. Считаю обязанным, Нурулла Рахманович, обратить внимание... поскольку же по вашей просьбе вынужден был...

— Хватит, хватит, Акрам Хамитович! — стараясь казаться миролюбивым, добродушным, поспешил прервать адвоката Галиакберов, подумав про себя: «Нервы впрямь сдают... держаться надо!» Говорил, стараясь овладеть инициативой в этом неожиданном разговоре: — И вы, Акрам Хамитович, объективно поймите. Преступнику сострадаем, а я что — чурка, камень? Я из того же теста, как и все. Ардаширов пакость устроил — я переживай. И то ли еще словечко — «переживай»?.. Явился, значит?

— И уже проведен предварительный допрос.

— И что же?

— Мне позволили — я присутствовал на допросе. Вас не стали приглашать, опасаясь, что Ардаширов в этом случае мог бы повести себя совершенно по-иному... Резонно, полагаю. Ардаширов открылся, как все было. Почти открылся... Вы можете познакомиться с протоколом допроса.

— Само собой, само собой, — думая о своем, отозвался Галиакберов.

Мысли путались, то одно, то другое приходило на ум, и уже подозрение прорастало... Чего-чего, а явки с повинной он от Ардаширова не ожидал! Сам ли тот дошел до этого, или — *надоумлен*? Вдруг Байназаров, которому он, Галиакберов, открыл свои карты, задумал какой-то сложный *финт*?.. Ведь Ардаширов — не просто бывший его подзащитный, вернее — не такой, как другие. Байназаров в свое время хо-

тел добиться *полного* оправдания его преступных поступков. *Полного!* И не получилось... Не повернет ли он сейчас все дело таким образом, чтобы Ардаширова любой ценой выгородить, а его, Галиакберова,—свалить? Третьего-то пути нет, не будет, если Байназаров действительно встанет на защиту Ардаширова? Защищая одного — уничтожить другого!

Эта мысль обожгла Галиакберова, отозвалась щемящей болью в груди. «Собратся!» — снова приказал он себе.

— Теперь предстоит устроить очную ставку, — продолжал меж тем адвокат. Он говорил это так, будто не лейтенант Галлямов, а он, Байназаров, является следователем по делу. Галиакберов еле сдержался, чтобы не сделать адвокату язвительного замечания на сей счет... Тут же упрекнул себя: «Разве не сам я бросил щуку в реку?»

Наверно, больше, чем допустимо, молчал он, и молчание это показалось Байназарову тягостным, — спросил тот настороженно:

— Не слушаете меня? Что-то вызывает сомнения?

— Нет, нет... весь внимание.

— На очной ставке станет понятным, чего стоит признание Ардаширова на предварительном допросе, почему молчат Айрат и Вася Малышев... Надеюсь, примете участие, Нурулла Рахманович? То есть, я имею в виду, будете, как и я, присутствовать на «бчке»?

«Ишь как — «присутствовать», «примите участие»! И вправду: не Галлямов — он, Байназаров, ведет дело...» Опять Галиакберов едва справился с тем, чтобы не ответить адвокату резкостью. Но лишь глухо спросил:

— Когда же она — очная?

— Галлямов считает, чтоб немедленно. И Колесников — «за». Ребята уже порядочно томятся в КПЗ. Зачем откладывать на завтра, что можно сделать сегодня! Полагаю, вы согласитесь с нами, Нурулла Рахманович?

«С нами...» — снова царапнуло Галиакберова. Ответил:

— Как вам сподручнее.

— В таком случае — приходите в райотдел к трем. К пятнадцатой ноль-ноль.

«Вот как! — усмехнулся Галиакберов. — У них давно решено, а меня спрашивают... и кто?! Байназаров! И ведь как затмение на меня нашло: у него, Байназарова, помощи попросил! Старею, что ль? Осечка за осечкой... А главное: не ошибиться б в дальнейшем. Выработать твердую линию, следовать только ей. Не сбиваясь, не уступая — к победе!»

Давно уже телефонная трубка поконлась на аппарате, Байназаров, наверно, усердно занимался уже своими делами в тесной сумрачной комнатке коллегии адвокатов, а Галиакберов неустанно мерил шагами кабинет — и размышлял, прикидывал, успокаивал и тут же незаметно взвинчивал себя... Как же, предположить если, будут развиваться события? Что можно сделать? Ведь замять всю эту историю невозможно. И не в его пользу такое. Наоборот, публичное разоблачение коварных замыслов рецидивиста («Именно так его надо именовать!..») ... рецидивиста Ардаширова лучше всего реабилитирует честь народного судьи! Публичный процесс, и чтоб непременно все подробности — в печати! Можно будет позвонить тому корреспонденту, что писал очерк. Мужик дельный, хваткий, с острым пером. Давай, мол, дорогой товарищ, еще напишем — заключительную, так

сказать, главу очерка. Концовку! Про то, сколько мужества требуется судье, как подло и грязно подчас преступный мир мстит ему... Изощренно даже. Использовали сына, доверчивого мальчика...

— Нурулла Рахманович, — приоткрыла дверь секретарша, — только что звонила Османова... ну да, бракоразводный процес... истица... она. Из больницы звонила: с приступом попала туда.

— Очень хорошо.

— Что?

— Я говорю, что отменяйте судебное заседание на этом основании. И ко мне пока никого... занят!

Ходил — из угла в угол, от стола к окну и обратно. И чем дольше думал о состоявшемся только что разговоре с адвокатом, тем отчетливее сознавал: не должен он был отдавать нити этого дела Байназарову — в его руки! Не должен... Кому ведь? Своему принципиальному противнику, тому самому человеку, который когда-то обозвал его *палачом*, который рьяно защищал Ардаширова и, конечно же, постарается взять реванш за давний проигрыш, за памятное всем свое чувствительное поражение! А еще не известно, как поведут себя на очной ставке его сынок-балбес и тот, другой, Васька Малышев... Что — если будут петь под дуду Ардаширова?

Уже многих своих знакомых и должностных лиц, которым следовало как-то объяснить происшедшее, Галиакберов уверил, что случай с сыном — гнусный шантаж, сведение счетов с ним, судьей. Гнусный потому, что ловко использовали его несовершеннолетнего мальчика, в силу возраста лопоухого и податливого на приман-

ку, — умело зацепили на крючок! Причем, подбадриваемый сочувствием слушателей, Галиакберов убеждал каждого из них, что навряд ли Ардаширов действовал в одиночку: эта операция мести, скорее всего, разрабатывалась определенной группой, сообществом неизвестных преступных элементов... Раз, другой повторив это, он сам уверовал, что все именно так, и даже что-то похожее на тайную гордость рождалось в сознании, щекотало самолюбие. Правда, сильное, присущее его характеру чувство осторожности, благоразумия порой брало верх, остужало распаленное воображение, Галиакберов заставлял себя вернуться к реальной действительности, от домыслов и предположений снова переходил к фактам, но...

Но все же приятно было хотя бы ненадолго сознать себя жертвой интриги и заговора!

И жертвой ли?

Бойцом, который, достойно выдержав подлый удар в спину, ответит противнику ударом сокрушительным...

Какое же объяснение даст Ардаширов?

Разумеется, что бы он ни говорил—все равно факты будут неопровержимо свидетельствовать против него, вовлек мальчишек в преступление! И с его явкой в милицию наступает конец затянувшейся нервотрепке... Но Байназаров, Байназаров! Как его присутствие сейчас некстати... Попадись Ардаширов без участия в этом деле Байназарова—можно б было, кроме всего прочего, после «воткнуть» адвокату: опять, дескать, твой *подопечный* влетел по самую макушку, и вовсе он не такой, каким когда-то пытался ты нам его представить,—не заблудшая овечка, зверь! Не умиляться им — поскорее в клетку!

И вообще, возбужденно размышлял Галиакберов, вся эта история с внезапным приходом в милицию Ардаширова окутана туманом. Подозрительна. Стоило Байназарову взяться за поиски, как преступник моментально объявился, будто только и ждал обусловленного сигнала... Невольно подумает: не сам ли адвокат прятал Ардаширова в надежном месте, чтоб извлечь его на свет божий в нужный момент? Глупо? Не совсем... Во всяком случае, следует разобраться. Пусть как одна из версий...

Пока же следует любым путем добиться отстранения Байназарова от этого дела! И чтоб не ему была доверена защита Ардаширова, не говоря уже об Айрате с Малышевым... Аргументы? Байназаров давно и, можно допустить, не без сомнительной заинтересованности связан с Ардашировым. Он сумеет как угодно настроить преступника, и тот неукоснительно станет соблюдать все предписания адвоката, ибо будет знать, что это—для его же пользы. А Байназаров, как защитник, умен, многоопытен, и уж будьте спокойны—научит, как вести на суде, что брать на себя, а что отрицать!

Он, Галиакберов, может заявить, что обращался к Байназарову, побуждаемый единственной целью: скорее разыскать Ардаширова, ибо догадывался, что адвокат в состоянии воздействовать на последнего. Убедительно? Вполне! И разве не закончилось все таким образом, как он дальновидно предполагал? Адвокат подсказал—преступник отдал себя в руки властей.

А глубоко вникнуть—не бросает ли это тень на фигуру члена коллегии адвокатов?

Надо немедленно познакомиться с протоколом допроса Ардаширова! Там ключи к тайне, там можно почерпнуть сведения, которые

укажут план дальнейших практических действий...

Галиакберов наконец уселся в кресло, ощущая, как от часовой непрерывной ходьбы по кабинету заломило в коленях; и, привычно утвердив локти на столе, придвинув поближе стопку чистой бумаги, стаканчик с остро отточенными карандашами, — набрал номер следователя Галлямова.

— А мне звонил Акрам Хамитович, — после короткого обмена приветствиями сказал Галлямов. — Информировал, что ввел вас в курс... Поэтому я счел лишним, Нурулла Рахманович, тревожить вас...

— А я могу только сожалеть, что вы не постарались этого сделать, — сухо заметил Галиакберов. — Насколько понимаю, именно вы, а не Байназаров ведет дело.

— Но ведь вы сами попросили Акрама... — растерянно начал было следователь, однако Галиакберов прервал его:

— Не будем разминивать время на пустопорожние разговоры и... домыслы! Я понял, Саях Яруллович, что вы собираетесь в пятнадцать часов провести очную ставку. Не в моей, конечно, это компетенции, однако... почему спешка? Меня несколько удивляет...

— Но ведь, Нурулла Рахманович... — опять попытался что-то сказать молодой следователь, и опять Галиакберов властно перебил его:

— Вот я и говорю: не имею права вмешиваться. Однако если уж вы так порешили — не смогли бы, Саях Яруллович, приехать ко мне с протоколом предварительного допроса? Это просьба. Мне, надеюсь, понимаете, самому ехать сейчас к вам — не совсем удобно. Черт-те что подумают... А познакомиться с протоколом — хо-

тел бы. Весьма. Как-никак, речь идет о судьбе моего сына...

— Понятно, Нурулла Рахманович, понятно...

— И вообще... разве нам не о чем поговорить?

— Нурулла Рахманович, немедленно выезжаю к вам!

— Спасибо, признателен, Саях Яруллович.

Галиакберов в задумчивости откинулся на спинку кресла. Он знал, что рискует. Мало-мальски неверный ход — и все может кончиться для него плачевно. Но и отказаться от намеченного он уже был не в состоянии: слишком важная ставка бросалась на кон! От нее — считал он — как раз и зависел престиж народного судьи, зависело его, Галиакберова, будущее. Только вперед и — смело! Как всегда.

23

Галлямов прибыл через десять минут.

Галиакберов накануне, как только стало ему известно, что следствие поручено вести лейтенанту Галлямову, навел справки о нем. Ему сказали, что парень только-только начинает службу, ничем еще не выделяется, но уже ясно: «середнячок», однако исполнительный, указания начальства выполняет не просто с добросовестностью — ревностно... «Значит, толковый», — определил для себя Галиакберов.

Галлямов — низенький, худощавый, с узким разрезом темных, под густыми бровями глаз, одетый в серый кримпленовый костюм и белую нейлоновую сорочку — вежливо поздоровался, присел на стул, подпернув по складочкам брюки; молча вынул из папки и положил перед судь-

ей листки протокола. Лицо следователя при этом ничего не выражало.

Протокол допроса занимал несколько страниц, заполненных аккуратным и экономным почерком. Для опытного глаза Галиакберова не составило труда моментально, лишь только пробежался по тексту, выхватить главное, суть, так сказать, признания Ардаширова.

И оно насторожило его!

Толком не определив еще, в чем кроется опасность для него, он уже понял: *опасность такая есть!*

Снова, теперь медленнее, вчитывался в строчки...

Итак, Ардаширов из Уфы не уезжал. Жил на квартире сестры своего бывшего сокамерника Мухита Нургалина, известного под кличкой Косой. Никуда уезжать не собирался. Не признает, что прятался... По его словам, когда он услышал, что мальчишки попались в магазине, не поверил, будто их сразу «за решетку»: все-таки один из них — сын судьи. Но знал: милиция докопается, кто подделывал чек. С запозданием спохватился: чего натворил! Разные тревожные мысли навалились, стыдно и горько стало, что не сдержался, снова теперь с милицией объясняться, ребятам в бригаде в глаза не посмотришь... Отлеживался в пустой квартире, пил вино, ругал себя, думал, как дальше жить, что делать... Рано или поздно появился б в бригаде, знал, что надо будет просить прощенья за прогул, но тут пришла, сама его разыскала бригадир Александра Сорокина. Сообщила, что разговаривала с адвокатом Байназаровым, тот советовал «не укрываться». А он, Ардаширов, готов поклясться, что не прятался. Просто хандрил, переживал в одиночестве! Пытался залить свою тоску вином. За

вином в магазин сам, не таясь, ходил. Услышав же от Сорокиной, что дело приняло серьезный оборот, его считают сбежавшим, «пацаны» какой день содержатся в «предварилке», — тут же оделся, пошел в райотдел... Признает, что чек был подделан им, однако отрицает, что хотел с помощью школьников использовать подложный чек в преступных целях. Заявил, что об истинных причинах, побудивших его войти в контакт с несовершеннолетними Галиакберовым и Малышевым, скажет лишь в их присутствии — на очной ставке. Пусть они, дескать, услышат, «что к чему»... Пока же добавить ему больше нечего.

— Однако! — усмехнулся Галиакберов, отрываясь от листков протокола. И произнес с нажимом: — Грубая работа.

— Что вы сказали? — растерянно спросил Галлямов.

— Вы не в курсе, Саях Яруллович... э-э... Ардаширов явился в милицию... не встречаясь до этого с Байназаровым? Или после встречи с Байназаровым?

— Не понимаю вас, Нурулла Рахманович...

— А что тут непонятного? — Галиакберов натянуто улыбнулся. — Меня интересует: была ли у Байназарова и Ардаширова встреча накануне явки последнего в милицию? Еще повторить?

— Зачем же! Понял. — Теперь уже растерянность, недоумение были не только в голосе Галлямова — на лице его отражались. Он заерзал на стуле и, пожимая плечами, неуверенно сказал: — Как же они могли встретиться? Не-ет...

Странный вопрос судьи сбил следователя с толку. А Галиакберов подумал: «Тугоухий... са-

мых элементарных вещей не улавливает. Пока не разжуешь ему и в рот не положишь. Но, пожалуй, лучше, что не из опытных...»

— Ну что ж, — бодро произнес он вслух, — спасибо за чуткость, Салях Яруллович. Что приехали ко мне... и прочее... Как же вы собираетесь проводить очную ставку?

Галлямов какое-то время напряженно смотрел на судью, силясь, видно, угадать, что стоит за этим, очередным вопросом, и, ничего не решив для себя, неуверенно пояснил:

— Как же ее можно проводить, Нурулла Рахманович... обыкновенно. Будем выяснять, уточнять. Василий Малышев и Айрат, сын ваш... знаете же... отказывались до этого... не признавались честно. Ардаширов же обещает, что в их присутствии... Пусть друг при дружке говорят! Сразу будет видно. Разве не так?

— Возможно, возможно... А скажите, Салях Яруллович, Александра Сорокина, бригадир со стройки, когда вы с ней разговаривали... лично вам она не сказала, где можно найти Ардаширова?

— Заявила, что не знает.

— Не знает?

— Да.

— Хорошо-о... Пойдем дальше. — Галиакберов позволил себе снисходительно улыбнуться. — А после выясняется: знала. Нашла же! Через этого самого Косого... через Нургалина, имеющего в блатном мире кличку Косой... так?

Галлямов, напряженно морща лоб, вдруг словно бы обмяк, плечи у него опустились; сказал он с тихим удивлением:

— А ведь так. Что же: одной веревочкой они повиты?

Галиакберов не давал ему опомниться:

— И после вашей беседы с Сорокиной она не бросилась на поиски Ардаширова — это мы теперь точно установили. А вот когда побывал у нее Байназаров — побежала! Мигом! К Косому!

— Ваша правда, Нурулла Рахманович, — после недолгого молчания ответил Галлямов. Он уже, заметно было, пришел в себя; нетерпеливый огонек проблеснул в полуприкрытых глазах.

— Не кажется ли вам...

— Кажется!

— ...не кажется ли вам, Саях Яруллович, что налицо целый ряд... э-э... странностей. А их, естественно, надо решать! Определяться к ним! Согласны со мной? Определяться именно вам, следователю.

Галлямов, подобравшись, снова сидел с лицом невозмутимым, лишь на скулах проступила краснота, да пальцы рук у него подрагивали, выдавая волнение; и Галиакберов видел: слушает жадно и... будет послушен!

— Разумеется, я не вправе вмешиваться в ваши дела, Саях Яруллович. Однако вы, человек умный, работник, как я слышан, хоть начинающий, но весьма толковый, перспективный, надеюсь, поймете...

— Я весь внимание, Нурулла Рахманович.

— Вот и славно! Значит, не стесняйтесь, если понадобится совет, моя помощь. Это во-первых... Информировать о тех или иных подробностях, что могут появиться... как старшего товарища, расположенного к вам. Да! Не ошибетесь. Не такие лабиринты, поверьте, Саях Яруллович, одолевал ваш покорный слуга! Не такие кроссвордики.. да. А в молодые годы, подобно вам, не чуждался полезных... э-э... подсказок со стороны старших.

И Галиакберов, поднявшись из-за стола, обогнув его, отечески потрепал по плечу тоже вставшего со стула следователя. Отметил про себя, что тот, судя по горячему, порывистому рукопожатию, настроен к нему не просто уважительно — благодарно.

Когда уже Галлямов собирался пойти к двери, Галиакберов спросил у него словно бы между прочим:

— А вам, наверно, известно, Саях Яруллович, что именно я когда-то судил Ардаширова?

— Как же, знаю... Лейтенант Биктимиров обращал мое внимание...

— И этот факт ни на что не наталкивает?

— Почему же...

— Точно так, как вы считаете, Саях Яруллович: продуманная месть! Чего бы мы больше ни узнали — не главное будет, вторичное, наносное... возможно, чтоб запутать нас, отвлечь, на ложный след навести! Главный же мотив — месть. И я рад вашей проницательности, Саях Яруллович. Хорошо начинаете службу!

Еще сильнее порозовели скулы Галлямова. Замаялся, пожал плечами:

— Стараюсь...

— Поможем, Саях Яруллович.

— Спасибо.

Галлямов, еще раз с чувством пожав протянутую ему судьей руку, выскользнул за дверь.

Когда здание нарсуда осталось за углом, молодой следователь свернул к летнему павильончику с вывеской «Кафе», спрятавшемся в тени старых лип, сел там за свободный столик, попросил стакан сока и порцию сливочного мороженого, которое обожал, — и стал думать...

В сущности, он так и не понял, чего хочет судья. Тот, само собой, подсказал ему, на что об-

ратить внимание... Это полезно было услышать: обратит! Но туманные намеки в адрес адвоката Байназарова... что за этим кроется?

Как-никак адвокат сыграл не последнюю роль в том, чтобы Ардаширов оказался обнаруженным. Причем никто не заставлял его заниматься этим... И судья Галиакберов вроде бы дает понять ему, следователю, что адвокат тут руководствовался какими-то темными, корыстными мотивами... Действительно, зачем Байназарову так горячо вмешиваться во всю эту историю?! А он участвует, да как еще — с жаром, заинтересованно!

И бесспорно одно ясно: фигура адвоката судье не по душе... Однако что ему-то, следователю, до этого? Он обязан подготовить дело и сдать его в прокуратуру. И ничего более. Потом пусть оно идет своим заведенным порядком, пусть над ним ломают голову другие, кому по чину положено... Но тем не менее лучше учесть... как бы их назвать?.. пожелания Галиакберова, который пользуется большим авторитетом в юридическом мире. Уж он-то любой спор выиграет, а его, следователя-новичка, столкнись с ним, сомнет, в бараний рог скрутит! Ас своего дела потому что...

Галлямов в своих невеселых раздумьях даже про любимое мороженое забыл, которое таяло перед ним в вазочке. «А вдруг обстоятельства сложатся так, что вина сына Галиакберова будет доказана?» — спросил он себя и ощутил неприятный, ознобистый холодок под рубашкой.

Ах, эта чудесная девочка, ах, Фарида!..

Рамзия из своего больничного кабинета повлажневшими глазами смотрела вслед Фариде,

как шла та по аллейке к воротам... Оглянулась Фарида — и Рамзия помахала ей рукой.

Так и простояла у окна, пока Фарида не скрылась за высокой оградой...

Потянулась к телефонной трубке.

Надо же поскорее рассказать Нурулле, что прямо в больнице разыскала ее Фарида... да, та самая девушка, с которой дружит Айратик... разыскала, чтоб сообщить радостную новость: рисунки Айрата, что посылались в Москву на всесоюзную выставку школьных работ, будут отправлены в числе самых лучших на другую выставку — уже международную, за границу, и Айрат награжден дипломом, памятным подарком, приглашается в столицу: на встречу с такими же, как он, победителями конкурсной выставки...

Встреча — через месяц.

Так сообщается в большой телеграмме, присланной из Москвы в школу. А в школе, говорила, сияя личиком, Фарида, все ужасно рады успеху Айрата, и только дружно возмущаются: сколько можно держать мальчика в милиции?! Завтра вместе с классной руководительницей, Натальей Андреевной, взяв эту телеграмму, они всем классом пойдут к прокурору: пусть вмешается! Айрат, одержавший победу на трудном конкурсе,—гордость школы, а подумать — так и всего города, если не республики... Один из Башкирии!

То негодуяще, то радостно дрожал голосок Фарида, когда обо всем этом говорила она Рамзии, а та смотрела на нее и взволнованно думала: «Верила б богу — спасибо ему сказала б, что рядом с моим Айратом оказалась такая девушка».

В приливе нежности она несколько раз поце-

ловала Фарида, и у обеих щеки были мокрыми от внезапных слез... Смущалась Фарида и счастлива, кажется, была, что *понята* матерью Айрата, *принята* ею, можно, значит, было прийти сюда, в больницу, на что, конечно, не сразу она решилась.

...И как ей, Рамзии, не позвонить тут же мужу?!

Утром он нагрубил ей, дверью в сердцах хлопнул, однако ведь не со зла, не из-за чего-то там... взвинчен до предела, нервы! Признаться, привыкла уже, что даже с ней, самым близким ему человеком, будто *б на отдалении* он, редкое нежное слово боится произнести. Немногословен, хмур, задумчив, всегда в каких-то своих заботах и скрывааемых от нее тревогах... Может, сама виновата? В первые годы совместной жизни не так ведь было, в молодости-то? И понимали друг друга, и веселились... Устали? Не успев натешиться, счастье познать — охладели? Но нет — любит он. Чувствует она: любит! Просто такой характер у него — тяжелый, взрывной, ни себе от такого характера радости, ни близким. Да еще судейская работа — на несчастье! Был бы инженером, бухгалтером, педагогом или — как она — врачом, кем угодно, лишь бы не судьей... спокойнее б, раскованней жили б!

Вздохнув, Рамзия набрала номер.

Мгновенно от грустных дум вернулась к тому, что должна была сообщить Нурулле, — и разгладились морщинки на лбу, улыбнулась она, приподнято сказала в трубку:

— Это, ваша судейская милость, я — изруганная вами супружница. Не соскучились?

Наверно, Нурулла удивился: отчего она такая игриво-веселая, когда им обоим не до веселья? После паузы неопределенно произнес:

— И что?

Рамзия быстренько передала ему все, что узнала от Фариды, и старалась так говорить, чтоб муж тоже встряхнулся, поразился доброй неожиданной вести, ответно сказал бы что-то теплое, ободряющее... Но он, выслушав, молчал. И она, угасая, горестно подумала: «Чего захотела: зови — не дозовешься!..» С нескрывасмой обидой спросила:

— Тебе, вижу, все равно?

— Нет, — ответил он.

И уловила она усталость и вроде бы даже тоску в его голосе.

Сказала тихо:

— Перестань, не надо... Обойдется. А нет — не пропадем.

Он ответил:

— Ну что ты, Рамзия!.. Знаешь: Ардаширов у следователя. Отыскался, стервец! Через час — очная ставка. Он, ребята... И я туда иду. Что? Нет, тебе нельзя. Не-льзя! Звонить будешь? Зачем — я сам! Жди.

Когда ввели в комнату Айрата и Васю Мальшева, они — видно было — удивились и одновременно обрадовались, что Мансур Ардаширов тут. У обоих в испуганных глазах пробились живость, даже вроде бы какая-то надежда... Мансур же посматривал на всех чуть ли не с вызовом, словно б подчеркивал свое пренебрежение ко всему происходящему. Лохматил пятерней буйные волосы, улыбался. Лишь бисерные капельки пота, проступившие над губой и на лбу, которые он поминутно смахивал, выдавали его напряженное состояние.

Галиакберова неприятно поразило, что сын, войдя, почти не обратил на него, отца, никакого внимания. Скользнул взглядом — и отвернулся. И позже больше смотрел на Ардаширова да еще на свою учительницу, Наталью Андреевну Величко, которая, оказалось, за пятнадцать минут до очной ставки пришла — по ее словам — «ругаться» с начальником милиции, принесла ему письмо, заверенное школьной печатью, в котором восьмой «Б» класс просил отдать им товарища — талантливого юного художника Айрата Галиакберова — «на поруки»...

Узнав про очную ставку, Наталья Андреевна упросила, чтоб ей позволили присутствовать, обещая не вмешиваться в ход разговора, и вообще ничем не проявлять своих мыслей, суждений, эмоций... Она заверила, что будет «нема как рыба», «непроницаема, как статуя», однако после первых же вопросов, обращенных следователем к обвиняемым, стала сама спрашивать и даже... подсказывать Айрату ответы! Галлямов, раздраженно постучав карандашом по столу, вынужден был напомнить Наталье Андреевне о прежней договоренности. Она, закусив губу, кивнула, соглашаясь, но чувствовалось, как трудно, просто неумоготу было ей сдерживаться. Опять порывалась что-то сказать, ерзала на стуле, как самая непоседливая ученица. Была б ее воля — схватила б она за руку своего ученика и, увлекая его за собой, побежала б с ним отсюда: лишь бы очутиться подальше.

— Обвиняемый Ардаширов, расскажите, как давно знаете вы этих ребят — Малышева и Галиакберова? Когда и при каких обстоятельствах с ними познакомились?

— Меня ж спрашивали про это!

— Отвечайте на поставленный вопрос.

— Как попугай — тверди одно и то же! Ну, пожалуйста... С месяц назад было. Так иль нет? — обратился он к Малышеву.

Тот — щупленький, тщедушный, с большими оттопыренными ушами на маленькой голове — поспешно подтвердил:

— Да.

— Ардаширов, вопрос обращен только к вам, а не к Малышеву!

— Ну, пожалуйста... С месяц назад я шел по парку...

— В какое время суток? — вступает в разговор адвокат Байназаров.

— Из кино возвращался. С последнего вечернего сеанса. Так что — в одиннадцать иль пять — десять минут двенадцатого.

— Дальше!

— А дальше так. Холодный дождик, помню... в плаще зябко было. Ну, значит, иду парком, курю себе, о кинокартине думаю иль о чем-то другом... разве вспомнишь теперь?

— По существу... самое главное, Ардаширов.

— Ну, пожалуйста... Вижу, что в парке, в стороне от дорожки, под скамейкой кто-то лежит, зрение у меня хорошее — лежит, вижу. А дождь! Сначала чуть было не прошел мимо: собака, мол. Но остановился: нет, человек! Хотя, теперь-то думаю, лучше б тогда не останавливаться! Лучше б пройти, провались все пропадом, как будто мало мне своего...

— Не отвлекайтесь, Ардаширов. Только факты. Без этого... без отвлечений!

— Это я к слову. Ну, пожалуйста, гражданин следователь... Человек под скамейкой. Опять думаю: пьяный. Лучше, прикидываю, стороной обойти. Увидит кто — решит: раздевал пьяного, часы снимал иль что-то такое! Мне только этого

не хватало... По-другому: замерзнет же, дуба даст! И замечаю: дрожит!

— Так уж в темноте заметили, что дрожит! — перебил Галлямов, почему-то взглянув при этом на судью Галиакберова.

— Товарищи, заслушаем, может, а вопросы после? — недовольно сказал Байназаров.

— Я полагаю, что у каждого из нас свои должностные права, — ответил Байназарову Галлямов, словно выговор сделал, и снова искоса взглянул на судью. — Продолжайте, Ардаширов.

— А я, говорю, заметил — дрожит! — упрямо повторил Мансур. — Кто шел там: я или вы?

— Не забывайте, Ардаширов!

— Ну, пожалуйста... Подошел, наклонился, за пальтишко, что поверх было на нем, как одеяло, к примеру, наброшено, дернул... а это, гляжу, пацан! Он вот, — Ардаширов показал пальцем на Малышева. — Спрашиваю: другого места не нашел — ночевать-то? Молчит, дробь зубами выбивает, боится, вижу, как вроде предполагая, что я хулиган...

«Бандит ты, а не просто хулиган», — мысленно сказал Галиакберов, пристально, тяжело разглядывавший Ардаширова с тех пор, как тот открыл рот, начал давать объяснения. Нет уже того дерзкого, вихрастого волчонка, которому когда-то определял срок, — теперь вошедший в силу волк перед ним! Так думал судья, машинально поглаживая левую сторону груди, успокаивая сердце.

— Ну все ж разговорились. Назвался он: Васей зовут, в школе, мол, учится. И вот с пятницы — а было воскресенье — почует где придется, мол. Папахен и мамахен... такая ж, значит, она... запили, гуляют, дерутся, его лупят — сбежал, одним словом. Его папахен, козел...

— Без выражений, Ардаширов!

— Ладно. Он даже Васькины учебники и школьную сумку пропил, да после еще самого пацана по затылку угостил. За ноги б такого повесить, да еще бы...

— Ардаширов!

— Молчу. Ну вот... Мальчонка, значит, третью ночь кантовался где придется.

— Боже мой! — воскликнула, побледнев, Наталья Андреевна, обхватив щеки своими красивыми — длинными и узкими — пальцами. — В наше-то время?!

Мансур Ардаширов резко повернулся к ней, спросил усмешливо:

— Что — не нравится? Что — в диковинку?

— Не отвлекайтесь, Ардаширов, — прикрикнул Галлямов. — Спрашивают вас... вас!..

— А мне не в диковинку, — хмуро проговорил Мансур, — ну да что тут!.. О Ваське будем. Рассказал он мне, что и в эти деньки и прежде подкармливал его дружок по имени Айрат. Продуктами из домашнего холодильника, и даже мелкие деньжата, если у самого бывало, давал. Но позвать к себе домой ночевать... этого не мог! Боялся. Такие у него папахен и мамахен, чтоб никого чужого... ограждались, значит!

Галиакберов, полерхнувшись, затажно закашлялся, ощутив, как сразу кровь тяжело прилила к затылку; он еле сдержался, громадным усилием воли оставил в себе гневные слова, что просились с языка, и было неприятно, почему это все разом посмотрели в его сторону... Насмешливая, с издевкой физиономия Ардаширова; смущенье — в глазах Галлямова; напряженная поза у Байназарова; удивление на лице учительницы; низко опущенная голова сына с пламенеющими, будто два красных флага, ушами...

И Галиакберов отвернулся к окну, заставляя себя оставаться внешне безучастным, в молчании... до поры до времени, до подходящего момента!

— И говорит мне Васька, что хочет податься к старшему брату, — продолжал меж тем Ардаширов. — Брат в Астрахани, давно из своей веселой семейки сбежал, к рыбакам астраханским прибился, за тыщу верст от дома, значит...

— Ардаширов, покороче!

— Ну, пожалуйста... Я — чтоб понятней было...

— Мне кажется, подробности не помещают, — снова Байназаров голос подал.

— И Васька решился: тоже в Астрахань! Но где денег взять? Путь не ближний, зайцем да без куска хлеба не проскочишь... Так во-от... В общежитие к себе я Ваську не повел — у нас там вахтер, как цепной кобель...

— Ардаширов!

— Говорю, что есть. Отвел его к знакомому пожарнику. Тот как раз дежурил, и Васька пристроился в пожарном сарае. Обещал я помочь Ваське, сказал, где и когда найти меня, чтоб, значит, приходил он.

— Помог! — все же не выдержав, бросил Галиакберов. — Результат такой, с позволения сказать, помощи — налицо! Не помощи — вовлечения несовершеннолетних в преступные действия! А прикидываемся добренькой овечкой... которую стригут, а она, бедненькая, плачет! Кому очки втираешь, Ардаширов?!

— Да-да, — подхватил Галлямов, — что-то вы, гражданин Ардаширов, вроде б по делу, а так, что дела не видно... Какой вы — нам известно. Не о себе, а как все было... ясно? Только правду!

— Если вам все известно, — Мансур Ардаширов, хмурясь, сделал нажим на слове «*всё*», — я вообще могу замолчать... до суда! Поиграем в молчанку. Хотите? Устрою.

— Тут все не из пугливых, Ардаширов, не пугайте... смешно!

— Не пугаю. И меня не дергайте, если правды требуете. Говорю правду, гражданин следовательно, а если это не по-вашему иль как судье хочется... вы сами по себе, а я тоже сам по себе! А вру, подозреваете... их спросите! (Кивок в сторону Айрата и Васи Малышева.)

— Слушаем, Ардаширов.

— И давайте, товарищи... некоторые из нас... все-таки будем терпеливее, — опять из своего угла заметил Байназаров.

— Вот так мы познакомились с Васькой Малышевым, — сказал Мансур Ардаширов.

— Не Васька все же... заладили, Ардаширов! Василий он. Или просто Малышев.

— Это правильно, гражданин следовательно. Согласен. Не у ларька стоим... Но уже упомянул я: Васин дружок — Айрат. Познакомился с Васей — он Айрата привел...

— Куда привел?

— Ну когда встретились заново. У моего общежития. Решил я, что дам Васе с получки четвертной. На билет, значит. Однако до аванса надо было ждать... Айрат видел я, тоже хотел помочь приятелю. Кореша ж они!

Мансур Ардаширов взглянул на мальчишек, словно подтверждения на их лицах искал: так ли, дескать, рассказываю? И заметно было, с каким волнением слушали они, снова, наверно, переживая все те — уже давние — события.

— Как узнал Айрат, что Васька... то есть

Вася... окончательно настроился на Астрахань, говорит нам: «Хотите, раз такое дело, принесу денег на поездку?» Спрашиваем: «Откуда?» Айрат отвечает: «Дома возьму. Знаю, где лежат. Не заметят, может быть...» Вы записываете в протокол? Пишите точнее, чтоб потом меня не путать, а то бывало...

— Не беспокойтесь, Ардаширов: что показывали — то и подписывать будете.

— Ну, пожалуйста... На чем это я остановился? Ах, да... «Нет, — сказал я Айрату, — так не пойдет. Ты, раз Ваське самый настоящий кореш, объясни своему отцу его тревожное положение, по-честному денег у отца попроси...» Говорил я так? — обратился Мансур Ардаширов к Айрату. — Говорил, что попроси у папахеня, поручись, когда Васька заработает — пришлет переводом?

— Да, говорил, — тихо подтвердил Айрат и еще больше сжался, втянул голову в плечи.

«Вот оно... началось! — подумал Галиакберов. — Вот когда — по мне! Будет душить за горло не сам — руками сыночка моего... дурака, простофили, мокрогубого идиота!»

— Значит, говорил я такое... И спросил я тогда: если, мол, отец не даст ни копейки, то кто ж он — жадный иль мало получает? Айрат плечами пожал: ни то, мол, ни другое... Но не даст! Не поймет! Не посочувствует! Не войдет в положение!

— Короче, Ардаширов, конкретнее...

— И мне, натурально, стало даже любопытно. Кто же он, спрашиваю Айрата дальше, твой папахен, кем работает, если весь на принципах. И узнаю я, что отец Айрата, его папахен, значит, нашего района судья. Да судья-то какой — Галиакберов!

Странное дело: слушал сейчас Галиакберов Мансура Ардаширова, смотрел на него, знал, что перед ним *враг*, виновник несчастья его семьи, замахнувшийся, в конечном счете, на его судейскую честь, надо быть к нему беспощадным, жестко и поучительно развенчать наглеца, — знал все это, но словно бы не до конца, словно бы чего-то еще до полной убедительности ему недоставало, какой-то малой малости, действительно малой, однако необходимой, очень существенной... Возможно, мешало то, что рядом с Ардашировым находился сын, Айрат, и Галиакберов помимо воли припоминал, что в тот год, когда он решал судьбу Мансура Ардаширова, судил его — тот был приблизительно в таком же возрасте, как сын. И предвидел Галиакберов: об этом будет сказано ему — вон ведь как развивается рассказ Ардаширова! Другие-то, возможно, еще не догадываются, а он уже чувствует, *что именно* услышит дальше... И как возражать тут, что противопоставить? Как ни готовился, чего только не ждал, а оказалось — почти врасплох!

Галлямов спросил Ардаширова:

— Минуточку... как понимать ваши последние слова, Ардаширов: «...судья-то какой — Галиакберов!»?

— Я по-русски, по-моему, ясно сказал. По-башкирски теперь повторить?

— Не паясничайте, Ардаширов. Не придуривайтесь! Не вижу повода, чтоб резвиться-то вам... дорезвились. Опять конвой за спиной, под стражей!

— Еще суда не было, гражданин следовательно.

— Не было — будет. Между прочим, от вашего поведения здесь... от чистосердечного признания... будет зависеть, как суд отнесется... Верно, товарищ Галиакберов? Подтвердите, как судья.

Глупее выдумать нельзя было! Галлямов обращался к нему, Галиакберову, будто тот присутствует здесь, как судья, которому надлежит в дальнейшем взять к производству это, подготовленное следствием дело... От чрезмерного усердия, от желания угодить — ляпнул?

Галиакберов промывчал невнятное, но, кажется, сам Галлямов понял, что маху дал, — поспешно сказал Ардаширову:

— Ближе к чеку! Как получилось, что вы снабдили ребят поддельным чеком?

— Так уж и снабдил! — Мансур Ардаширов хмыкнул, и опять, как раньше было, мелкая испарина густо выступила у него над губой, на лбу, выдавая волнение или страх. Он обвел всех сумрачным взглядом, остановился почему-то на Наталье Андреевне, и словно ей одной теперь говорил: — Не пойму, очная ставка или нет? Что — меня да меня... Пусть пацаны скажут. Очная ставка, называется!

— Не нравится! — жестко усмехнулся Галлямов. — Ни-чего! Не у мамки в гостях... И не учите нас, Ардаширов, ученые все тут...

— А может, в самом деле, ребят послушаем, — вмешался Байназаров. — А потом снова Ардаширова.

— Нет, — твердо сказал Галлямов и даже ребром ладони по краю стола пристукнул. — Пусть расскажет про чек, а потом... остальных выслушаем. Про чек, Ардаширов!

— Про чек так про чек, — Мансур Ардаширов облизнул пересохшие губы, взглянул на

Галиакберова—взгляды их встретились, и, наверное, Мансур прочел в глазах судьи что-то такое, что прибавило ему уверенности, спокойной злости, и теперь слова его ложились неторопливо, продуманно и тяжело, как камни, которые попадали в цель и больно били.

Во всяком случае, его — Галиакберова — били.

— Про чек интересуется... Ла-а-адно! Будем про чек. Вот когда Айрат сказал мне, чей он сын, кто у него папахен—у меня в мозгах карусель закрутилась. Номер, думаю, прямо как в кино... Многое тут мне припомнилось! Галиакберов... Это как в насмешку!

— Лишние слова, Ардаширов. О деле, пожалуйста.

— Ну, пожалуйста... Я те дни, пока отлеживался, а вы считали, что в бегах я, дёру дал, тоже надо всем этим думал. Понял — дурак я, мелочь, дешевка. Мальчишек под монастырь подвел. Они, чего там, не виноватыс. Глуповня. Щенки!

— Ардаширов!

— Глупые, факт, гражданин следовательно. Но ведь когда судья Галиакберов на всю катушку врезал мне срок — я такой же щенок был!

«Вот оно!» — закаменел лицом Галиакберов, стараясь, чтоб ничто не выдало его возбуждения, чтоб наоборот, казалось — невозмутим, крикливыми уловками его не возьмешь! И нуще прежнего защемило сердце...

Айрат сидел в прежней позе — обвиснув худенькими плечами, опустив голову.

Вася Малышев вроде бы приободрился — уже не боязнь, а любопытство владело им.

Байназаров, щеки которого отливали нездо-

ровой бледностью, прищурившись, низко нагнувшись к столу, быстро писал что-то в блокнот, заполняя страничку за страничкой.

Галлямов нервно крутил в пальцах карандаш.

И чужими для этой обстановки казались широко распахнутые — в сострадательном испуге и удивлении — красивые глаза Натальи Андреевны Величко.

А Мансур Ардаширов рассказывал:

— Тогда, на суде, на всю жизнь врезалось это мне, по гроб не забуду, судья Галиакберов сказал... дословно не смогу, но как помню... сказал, что напрасно адвокат старается убедить всех, что я случайно совершил преступление... послушался — и совершил. Мол, я такой: сейчас оправдаем, он позже что-нибудь натворит! Задатки уголовного, мол, в нем. Уголовником, короче, родился!

— Не вводите в заблуждение присутствующих, — голос Галиакберова сорвался, сразу стал низким, хриплым, словно кто судье на горло давил. — Любой... кто другой или я... не мог так заявить. Ложь!

— Любой — не знаю. Я про вас говорю. — У Мансура Ардаширова голос, в отличие от галиакберовского, сделался звучнее, непримиримее. — Я не доподлинно, само собой, но смысл такой. Голову мне рубите — такой!

— Ардаширов, — глухо сказал Галлямов, — про поддельный чек...

— Господи, да какие ж вы все тут! — с отчаяньем воскликнула Наталья Андреевна. — Дайте ж человеку сказать, что он хочет...

— Товарищ учительница...

— Хорошо, товарищ следователь!

— Ардаширов...

— А я про чек — к этому иду. Надо ж объяснить, чтоб поняли...

— Товарищ Галлямов, послушаем...

— Разве не этим мы здесь занимаемся, товарищ адвокат? Но границы есть... Продолжайте, Ардаширов.

— Ну, пожалуйста... Перебиваете. А дальше вот что... Посмотрел я на Айрата — мальчик чистенький, добрый, хочет приятелю помочь. Семья — не то что моя была. Отец — судья! Не преступником, значит, родился — для хорошей жизни...

— Опять за свое, Ардаширов?

— Могу, повторяю, совсем замолчать.

— Ну поймите же наконец, Ардаширов...

— Ладно, гражданин следователь. Мне ведь тоже... выворачиваться-то перед вами... не сахар. И пацанов жалко. Айрата вот... Он-то, факт, ото всей души... А я, значит, тогда, взглянув на него, подумал: допустим, я такой-сякой, я бандит с детства, а это — примерный мальчик! Другой, Васька-то, на меня похожий, по семейным своим обстоятельствам. Ему терять нечего — лишь бы поскорей в Астрахани, подальше от дома, очутиться! И тогда, глядя Айрату в глаза, я сказал... Может, он сам расскажет?

— Заканчивайте!

Нет, не легко доставалась Мансуру Ардаширову очная ставка — причем, когда уже битый час приходилось объясняться ему одному. Объясняться — при судье Галиакберове, при ребятах, которые — неизвестно было — сумеют ли, как хотелось бы ему, понять истинные причины случившегося, почему вовлек он их в плохую историю; наконец — замечал — при самом недоброжелательном, почти враждебном от-

ношении к нему следователя Галлямова... видел Мансур: следователь боится судьи!

И устав — уже вяло, тускло он быстренько закончил свой рассказ:

— Короче, любопытно мне стало: сын такого судьи, что безо всякой жалости судил меня... сделает ли он то же, что когда-то сделал я?! Или вот мы... такие... на это годимся, а они... другие... не будут, не по ним это... Как ослепило: дай попробую! Испытаю. Проверю! «Воровать из дома не годится, — сказал я Айрату. — Есть один способ, опасный, пацаны, но Ваську можно выручить». Взял слово с них, чтоб молчали, чтоб даже если что ни что — ни-ни! Обещали. Ну вот тут и началось с чеком...

Мансур Ардаширов прошел со своего места к столу, за которым сидел Галлямов, не спрашивая разрешения, налил из графина в стакан воды, жадно пил, и все смотрели, как он пьет, какие у него большие, сильные рабочие руки: граненый стакан казался в них игрушкой, детским предметом. Вернувшись к стене, где до этого все время стоял, попросил Мансур:

— Гражданин следователь, передышку...

— Давно пора! — резко проговорил Байназаров. — И не мешало б узнать, как ребята относятся ко всему, что слышали сейчас из уст Ардаширова. Очная же — глаза в глаза...

— Что ж, — неохотно согласился Галлямов, — Айрат... Галиакберов... или ты, Малышев... кто из вас начнет?

Молчание.

Айрат смотрел на Васю Малышева, тот — на него. Какой-то молчаливый только им понятный диалог шел между ними. Быстрый, в секунды. Не на словах — вот так, глазами... И наконец Вася произнес:

— А чего... так было, как он... как Мансур говорил. Под скамейкой что я был... другое. И в Астрахань хочу, брата там разыскать хочу. Нельзя, что ль? А если я тут не могу... Все равно уеду в Астрахань. Айратик, можно сказать?

Снова — понятное им только двоим переглядыванье.

— Сначала я уеду в Астрахань, а потом.. В общем, Айратик туда приедет, как я напишу ему, как устроюсь там. Так решили. Он тоже тут не останется. Не хочет, как и я, дома... Одним нам лучше будет... В мореходку поступим!

— Не может быть! — вырвалось у Натальи Андреевны.

— А вы верьте всему! — громко, потеряв власть над собой, выкрикнул Галиакберов. — Развесим уши — они нам с три короба наплетут! Чего было — не было...

И осекся тут же, сам поняв, мгновенно устыдившись вспышки своей, и вдобавок — под гневно-укоризненным взглядом Байназарова.

— Правда это, — вдруг сказал Айрат, поднявшись со стула. Стоял, выпрямившись, пылая лицом, и губы у него мелко дрожали, однако слова выговаривал внятно, твердо: — Василек не врет. Я хочу уехать из дома. Уеду. А вот что Мансур нас... меня... испытывал, что он так поступил... не знал я. Зачем же так, Мансур?!

И сел, закрыв глаза ладонями.

Тишина нависла — долгая, в смущении и общей растерянности.

— Когда-нибудь дойдет до тебя — поймешь! — как бы в пространство, но обращая свои слова, конечно, к Айрату, проронил Мансур Ар-

даширов. И, видно, еще что-то хотел добавить, однако махнул рукой, сердито нахмурился.

Галлямов, опомнившись, бросив, как и прежде делал, взгляд на Галиакберова, на его посеревшее, вроде б даже оплывшее, потерявшее былую резкость линий лицо, поспешно сказал:

— У нас кто — Малышев отвечает?! Так что, Малышев, язык ты проглотил?

— А я, ей-богу, не вру...

— «Ей-богу...» Школьник! Что потом было?

— Когда?

— Ардаширов предложил вам способ — по поддельному чеку...

— А! Он Айрату сказал, что не надо из дома деньги брать...

— Слышали.

— Он сказал, что можно чек подделать. Потом получить товар. Потом продать — деньги будут. Это, сказал, преступление, но раз уехать надо, а не на что — попробуйте, если хотите...

— Малышев, он, Ардаширов, так говорил: «...если хотите...»?

Байназаров спросил, но Галлямов оборвал:

— Какая разница! Склонял несовершеннолетних... И что, Малышев?

— Зашли в продмаг, выбрали чек на пятнадцать копеек. Мансур сунул его в карман. Завтра, сказал, принесу вам этот чек — и потянет он на полтораста рублей. Комар носа, сказал, не подточит...

— Успокаивал... так, что ли?

— Н-не знаю...

— Вспоминай, Малышев, вспоминай!

— На другой день встретились...

— Днем, вечером?

— Перед вечером. Мансур чек показывает. На полтора ста рублей. Смеется.

— Весело ему было!

— Товарищ Галлямов... извините... ваши реплики, по-моему, неуместны. Мешают.

— Товарищ адвокат, допрос веду я. Итак, Малышев...

— Показал нам чек Мансур... А потом посидели на лавочке, покурили.

— Все втроем курили?

— Айрат... Айратик... он не курит. Мы с Мансуром. И говорит нам Мансур: «Готовы?»

— Как это расшифровать?

— Чего? А-а... Ну, дескать, готовы мы с этим чеком в магазин пойти. А мы... чтоб уехать-то, чтоб поскорей... мы с Айратиком обтолковали заранее, решили уже. Айратик еще говорил, что когда заработаем после — почтовым переводом пошлем на магазин. От неизвестных, дескать, лиц, в кассу магазина...

— Благородно... ой и молодцы! Дальше.

— И тут Мансур сказал...

— Что замолчал? Быстро говори! Мансур вам сказал, что... Что он сказал, Малышев?

— Обозвал он нас. Плохими словами. А потом стал говорить, что не надо нам... что нечистое это дело — с чеком-то... сам, дескать, на этом деле горел, как швед под Полтавой...

— Получается: Ардаширов стал вас отговаривать? — живо спросил Байназаров.

— А поддельный чек принес! — язвительно вставил Галлямов.

— Но этот чек... чек этот... — Вася Малышев мялся, потом наконец выдавил из себя: — Чек Мансур бросил в урну. Скомкал и бросил...

— Скомкал и бросил в урну? — переспросил Байназаров. — И что же?! Продолжали сидеть

на той скамейке... или ушли тут же? Если чек был брошен Ардашировым в урну — каким же чеком вы тогда пользовались в магазине?

— Ну! — привстав за столом, прикрикнул Галлямов. — Отвечай, Малышев. Давай-давай...

Маленькое личико Васи Малышева вдруг перекосила судорожная гримаса, он начал икать, дергаясь щуплым, угловатым телом; ему дали воды — и слышно было, как зубы подростка выбивали дробь о край стакана. Тогда поднялся Айрат и, страдая, наверно, за друга, несмело попросил Галлямова:

— Пусть он сядет. Я... если можно.

— Садись... успокойся, Малышев. Айрат Галиакберов — продолжай.

Айрат взглянул на отца, и одновременно с ним Галлямов быстро скосил глаза в ту же сторону — но Галиакберов сделал вид, что не заметил их взглядов. «В яме, — думал он, — сижу в глубокой яме. Сейчас сыночек сверху камни бросит... Но куда уж больше?!»

Айрат, запинаясь, начал рассказывать:

— Мансур, когда обругал нас, чек бросил — купил нам по порции мороженого, и себе тоже. мы поели и расстались. Он еще сказал: «Ладно. пацаны, ждите меня завтра, здесь же, на этом месте, и я, может, принесу Васильку денег на билет — до полочки сшибу у ребят в общежитии, в долг, значит...» И ушел. Еще, правда, немного поругал, что мы такие доверчивые... А когда ушел — и мы пошли...

— Слышали уже об этом. И про чек в урне — слышали. Короче, Айрат... Галиакберов Айрат! Идет все к тому, что никакого чека продавцу в магазине не предъявляли — так, что ли?

— Предъявляли, — прошептал Айрат, и две маленькие слезинки скатились по его щекам.

Раньше других эти слезы заметил Галиакберов, но они не тронули его отцовского сердца.

В эти минуты он презирал и, кажется, ненавидел своего сына.

Наталья Андреевна тихо — страдальческим голосом — произнесла:

— Айрат... успокойся. Не торопись. Не волнуйся. Подумай.

Будто ее ученик стоял не на допросе в комнате милиции — а у классной доски!

Айрат взглянул на съезжившегося Васю Малышева, тот кивнул ему — говори, чего уж!.. И Айрат, уставясь в пол, стал продолжать:

— А утром, когда с Васильком увиделись... Василек показал мне чек. Оказывается, вернулся к скамейке он в тот день, достал из урны. Разглядел. Вот как было... И мы пошли в магазин.

Айрат судорожно глотнул воздух и замолчал.

— Та-ак, — протянул Галлямов. — Та-ак... Выходит, Василий Малышев уговорил тебя, Галиакберов, пойти в магазин... с этим, подделанным Ардашировым чеком!

— Подождите, товарищ Галлямов, — начал было Байназаров, но следователь прервал его:

— Пожалуйста, вы подождите — не мешайте мне! Отвечай, Галиакберов... Айрат... Малышев повел тебя в магазин — и потом?

— Меня никто не вел — я сам, сам! — выкрикнул Айрат. — Если хотите... если так... это я указал, в какой магазин пойти.

— А кто первым сказал: пойдём с этим чеком в магазин? Кто первый?

— Мы оба решили.

— Пер-вым — кто?

— Я увидел чек в руках Василька... увидел

и сказал: «Если уж достал из урны — попробуем...»

— Что «попробуем»... как понимать?

— Попробуем получить в магазине товар. Чтоб Василек скорее в Астрахань уехал... чтоб я после экзаменов тоже туда...

— Нам нужен точный ответ, Айрат Галиакберов! Никакое выгораживание друг друга пользы вам не принесет... кроме дополнительных неприятностей.

— Послушать, может, как дальше развивались события? — заметил Байназаров.

— Хорошо. А к этому моменту мы еще вернемся: кто первым?.. Придется уточнить, выявить. Итак, Галиакберов... Айрат... что затем?

— Знаете ж остальное...

— От вас хотим услышать.

— Зашли в магазин...

— А вот почему в ювелирный? Чек-то выбивали в кассе продуктового?

— Мы просто не знали, что можно взять в гастрономе. Много водки и коньяка — спросят, зачем вам... Да разве потом продашь спиртное? Так мы думали...

— А что хотели.. забрать... в ювелирном?

— Увидели под стеклом витрины — ровно сто пятьдесят рублей часы золотые...

— И были уверены, что продавец не заметит подлога? Что даже не просто поддельный чек — с пометкой другого магазина? Что одного чека мало тут — еще выписать следовало...

— Мы думали — одинаковые везде чеки. Вернее, просто не думали, что... что не так, а по-другому...

— Беспредельная наивность! — обронил Байназаров.

— Глупость же все это... из-за глупости... из-

за того, что мы, взрослые, тут виноваты... а вы к мальчикам, как к преступникам! — горячо заговорила Наталья Андреевна, комкая в пальцах кружевной носовой платочек.

Галлямов, усмехнувшись, сказал ей:

— Товарищ педагог, вы снова... да, снова непозволительно мешаете допросу.

И обратился к Малышеву:

— Почему до сегодняшнего дня молчали, не признавались?!

— Нам лейтенант Бик... Бик...

— Биктимиров.

— ...лейтенант Биктимиров сразу после задержания сказал: видели вас накануне с Ардашировым... он вас, дескать, настроил, заставил. Мы поняли: подвели Мансура, он из-за нас пропадет... а он не хотел... помочь мне, точнее, хотел! Вот почему молчали. А теперь он, Мансур, сам пришел... чего ж дальше молчать? Он не заставлял нас, ей-богу!

Галиакберов, грузно поднявшись со стула, ни на кого ни глядя, пошел к двери.

В нависшей тишине жалобно скрипели под его ногами половицы.

Оказавшись в коридоре, он прислонился к стене, долго стоял так, ощущая томление в груди, и как бы даже в забывчивости, в отрешенности... Во всяком случае, сам себе не мог бы после ответить, сколько он пробыл вот в таком состоянии, привалившись к холодной, неряшливой стене милицейского коридора. Увидев наконец, что возле есть узкий деревянный диванчик, присел на него.

Из-за двери глухо доносились голоса.

Очная ставка продолжалась.

Галиакберов специально не вслушивался, но так уж само собой выходило — слышал...

— К вам вопрос, обвиняемый Ардаширов, — резко говорил Галлямов. — Отдавали ли вы себе отчет в том, что, прибегая к своим... к своим жульническим методам, раскрывая их, демонстрируя... имею в виду подделку чека!.. вы тем самым растлевали души подростков, наталкивали их на возможность совершения преступления?

— Чек-то я выбросил...

— А почему-то не порвали! Это тоже существенно.

— Скомкал, помню... пацаны ж говорят: разглаживали. И вообще... я поглядел: а ведь соглашаются, дураки, мелочь пузатая... соглашаются!

— Выбирайте выражения.

— И весь интерес у меня пропал. Потому чек выбросил. Отругал их сгоряча. Пообещал денег для Васьки принести. И вправду занял сорок рублей. Думаю, пускай парнишка катит к братану в Астрахань. Я, гражданин следовательно, на собственной шкуре испытал, когда шаромыжная семья...

— Знаем. К делу ближе. Почему все-таки подделывали чек?

— Объяснял же.

— Еще! Все-таки было желание — отомстить судье Галиакберову? Впутав его сына...

— А если впрямь было... поначалу?! — с вызовом ответил Ардаширов. — И что вытягиваете из меня — говорил же! Я ведь на всю жизнь запомнил, как он меня осудил.. вот настолько не пожалев! А мне тоже всего шестнадцать было, я о другой, может, жизни мечтал...

«Как же, стремился к свету, — желчно подумал Галиакберов. — Нет, не осудил бы я тебя — через год другой судья это сделал бы!»

— Ардаширов, — наседал меж тем Галля-

мов, — вас, устанавливаем, можно обвинить, что преднамеренно... что продуманно хотели отомстить судье Галиакберову?

— Я ж не скрываю, что обиду помню, а все другое... чего клеите-то мне? Вы приклеите, а я потом пыхти!

— Узнав, что Айрат — сын судьи Галиакберова, вы задумали втравить его в такую же историю, через которую... через что, в общем, когда-то сами прошли, да?

— И «да» и «нет»...

— Будем крутить?

— Не хочу. Зачем? Сначала решил: испытаю... Каков он сын... того судьи? Из другого теста? Не от такой матери, как я? Судья ж внушал мне тогда... А увидел — клюют пацаны на приманку. Тошно стало. И... жалко, гражданин следовательно. Честно, жалко. Когда к тому ж прикинул: не сладко ему, Айрату, в своем доме... Ваське Малышеву не мед... и ему тоже... Как бы ударило меня это: и от судьи сын бежит!..

Галиакберов, чувствуя, что задыхается, совсем уже нечем дышать ему, — слепо пошел на мерцающий впереди свет, к открытой двери миллицейского подъезда.

Оказавшись во двореке, Галиакберов глубоко, с жадностью вбирал в легкие воздух — так, как глотают его ныряльщики, долго пребывавшие под водой. В груди стало легче, но моментально закружилась голова, земля под ногами, подобно корабельной палубе в шторм, поплыла куда-то в сторону, и к горлу подступила тошнота. Сразу же вспомнилось: прошлым летом, когда отдыхал в Прибалтике, было похожее — на прогулочном

катере заглох двигатель, катер то взлетал, то резко падал вниз на крутых зыбких волнах, и он, Галиакберов, еле пережил ту сумасшедшую болтанку, лежал пластом, боясь, что вот-вот оборвется в нем какая-то главная струна, та самая, что удерживает сердце...

И вот — так же.

Он медленно, опасаясь упасть, сошел с крылечка, кое-как добрался до скамейки возле забора, присел. Хорошо еще, подумал, никто не видит: дворик пуст, лишь в дальнем углу, возле открытой двери гаража, клеит автомобильную камеру шофер в милицейской фуражке...

Прикрыв глаза, Галиакберов прислонился спиной к забору, ощущая, что сердце его бьется тревожно, неровно, то затихая, то гулкими толчками, словно бы пугливо вздрагивая, сбиваясь с привычного ритма. Но все же лучше тут, чем было в комнате. «Ничего,—сказал он себе,—отдышусь, сейчас, сейчас... Главное—спокойней!»

Дневной свет раздражал зрачки — и он еще сильнее смежил веки. По-прежнему подташнивало. Думалось вяло — безо всякой последовательности в мыслях. Одно только неотступно давило: суду быть, его сын предстанет перед судом... Это уже точно.

Вдруг показалось Галиакберову, что Айрат стоит перед ним... Он сам сидит в угловой комнате их квартиры на старом диване — а сын перед ним... Улыбаясь, говорит ему, отцу: «Посмотрим, папа, какое наказание ты потребуешь для меня. Тебе мама не говорила, что я хочу стать художником? Что меня в Москве заметили, приглашают туда? Ах, она говорила! Но ты знаешь, папа, я никогда не хотел быть преступником. Какой же я преступник?!»

Глаза у сына были веселые, в его словах

пробивалась ирония, он вроде бы не верил, что дело зашло далеко, и снова переспросил: «Какой же я преступник?» Галиакберов, опираясь ладонями в податливые пружины старого дивана, чувствуя, как они ползут вниз, а вместе с ними туда же, вниз, опускается он, — ниже, ниже, — твердо ответил сыну: «Преступник ты или нет — суд решит. В одном можешь не сомневаться: приговор будет справедливым!»

Дальше—больше... Уже сам суд!

Галиакберов видел: это же помещение их нарсуда — большой зал... Но почему за судейский стол, на кресло, увенчанное на высокой спинке Государственным гербом, садится Иштуган Искандерович Алтынбаев? На месте председательствующего должен быть он — Галиакберов! Круглый, толстый, с луноподобным лицом Алтынбаев пусть судит там, где ему доверено, — в своем районе, в здании своего районного суда! Ах, вон в чем дело... На скамье подсудимых — среди других — Айрат. Значит, Алтынбаеву поручили вести процесс: ведь, действительно, не вправе же он, Галиакберов, выносить приговор родному сыну. А вдруг, поддавшись отцовским чувствам, оправдает?! Но все равно... все равно! Он будет находиться тут, на суде, не как свидетель, не как отец обвиняемого Айрата Галиакберова... еще чего! Он даже в этой сложной ситуации останется представителем Правосудия, Закона, и если обратятся к нему... если понадобится его участие, помощь... если спросят, наконец, его... он назовет нужную статью Кодекса, справедливо карающую преступников!

Разве похож он на инженера Салихова, отца беспутного сына, — этого седого, понуро опустившего голову человека, что сидит сейчас в зале?! Конечно, нет. Никакого сравнения!

А кто это в сторонке—за невысоким столиком вблизи барьера, где конвойные стерегут обвиняемых? Так это же Байназаров — на своем месте защитника... И во взгляде близоруких глаз адвоката, обращенных к нему, Галиакберову, можно прочитать: «Вот при каких обстоятельствах мы с тобой встретились. Не забавно ли? А может — закономерно? Во всяком случае — поучительно...»

Почему-то смеясь, что никак не подобает председательствующему на суде, что сразу же вызвало возмущение Галиакберова, — Алтынбаев объявил, что показания будет давать сын Нуруллы Рахмановича Айрат... И опять Алтынбаев засмеялся, обнажив белые зубы с редкими золотыми коронками. Айрат, стриженный, с какими-то фиолетовыми пятнами на щеках, тоже засмеялся, оглянулся на ухмыляющегося Мансура Ардаширова, сказал: «Если бы мой отец...»

«Замолчи! — что было силы закричал Галиакберов. — Замолчи-и-и!»

Синее пламя, будто вырвавшись из его груди, полыхнуло в лицо, по глазам, он отшатнулся, клонясь, заваливаясь набок; услышал неясные голоса вблизи, и среди них испуганный, узнаваемый им голос учительницы Айрата — Натальи Андреевны:

— Нурулла Рахманович, что с вами?! Товарищи... да помогите же!

Когда он открыл глаза — в них хлынула ослепительная, пронизанная солнечным светом белизна больничной палаты. В окне был виден кусочек чистого голубого неба. Галиакберов, конечно, не мог знать, что пролежал в забытьи

почти двое суток, и ему в эти часы все время делали различные уколы, давали дышать кислородом, и что все это время неотлучно находилась возле него Рамзия... Но именно за несколько минут до того, как он очнулся, Рамзия вышла из палаты: побежала в соседний корпус за ампулами для очередной порции уколов.

Галиакберов чувствовал страшную слабость во всем теле, щемило в позвоночнике, а еще очень хотелось пить. Кружку воды... сока... кваса! Лучше воды... На тумбочке, совсем близко, стоял графин. Без стакана. Но ведь можно выпить прямо из горлышка. Главное—дотянуться.

Но едва оторвал голову от подушки — тупая, саднящая боль ударила под сердце, вырывая из груди стон. «Вот и смерть», — подумал он, не ощущая страха. Пронеслись, как в вихре, какие-то смутные картины рабочей — в суде — обстановки; разные, быстро гаснущие видения — газета с его фотографией, смущенная улыбка на лице адвоката Байназарова, мокрые щеки сына... Ни жалости, ни злости к сыну не было. Равнодушные. Бог с ним! А вот Рамзия—где она? Где Рамзия?! Режущая, тоже похожая на боль тоска — по ней, Рамзии, тоска — заполнила грудь. Рамзия! Лишь она была нужна ему сейчас, ее присутствие рядом, здесь, у кровати... Многое он должен успеть ей сказать.

Где же она сейчас?

Думает ли о нем?!

Но кто, как не она, — устроила его здесь, в просторной одиночной палате, заполненной солнечным сиянием? Как было-то все? Оттуда, из милицейского дворика, его доставили сюда... На «скорой помощи», наверно. Что — инфаркт? Тогда — нельзя двигаться. Попить бы только... Надо терпеть — придет же кто-то. Медсестра...

или она, Рамзия. Сколько ей забот — и с ним, и с Айратом. Может быть, как раз пошла к Айрату. Теперь, когда он лежит беспомощным, — не будет она спрашивать: можно ей или нет пойти в камеру к сыну? Сы-ын... На нашу голову... не на радость — на беду, на позор... Пить, как хочется пить!

Мягко распахнулась дверь — и вслед за молоденькой медицинской сестрой в палату вошла Рамзия. Какое измученное, с темными полукружьями под глазами лицо у нее, какая мука на нем! Давно не испытываемое им, забытое чувство коснулось вдруг его... нежность?... благодарность?... любовь? А почему бы нет — любовь. Да. Он любит свою жену. Не говорил ей об этом вслух? Боялся показаться сентиментальным, боялся еще потому, наверно, что... Да разве любовь — это когда обязательно признания, откровения, слова, слова?! Вздор! Но если так — подняться бы, выйти отсюда «на волю», к привычной жизни, и он скажет ей... скажет! Подняться б!

Она здесь, она возле, идет к нему... Милая ты жена моя... единственная... я не умру, я не хочу умирать, мы должны быть вместе, правда? — Нурулла... проснулся?!

Рамзия с трудом подавила крик радости. Ее прохладные пальцы легли на его жаркий, в испарине лоб.

— Дорогой... как ты меня перепугал! Лежи, лежи... смирно, терпеливо. И все будет хорошо, Нурулла. Поверь мне: будет хорошо. Сильно перенапрягся, срыв произошел. Пить — да? Только понемногу... вот так... так, мой бесценный. Не говори ничего, не надо, я по глазам все, что нужно, пойму.

Нежные руки жены... Нет, надо все осилить,

преодолеть, во что бы то ни стало утвердиться на ногах, опять пойти знакомой дорогой, быть в гуще дел, быть на людях. И она, Рамзия, поможет ему в этом—чтобы поскорее подняться... Рамзия, Рамзия? Догадываешься, о чем думает твой муж? Наша жизнь впереди, еще будут счастливые дни. Сейчас я понимаю, вижу, какими должны, могут быть эти дни... Не отнимай пальцев от моего лица! Какая ты чуткая: я не сказал—ты поняла меня. Тырываешься на двоих: тут — я, там—Айрат... Ты мать, он сын... Прости меня. За что? Как тебе ответить... Не в словах же, действительно, дело — просто потребность в душе: попросить у тебя прощенья. Прости. Не вижу, что в твоих глазах? Я ничего не вижу! Сердце... сердце...

— Настенька, шприц! Скорее! Нурулла... Нурулла...

30

Начались для Галиакберова дни, похожие один на другой. На больничной кровати, в ограждении четырех белых стен, с маленьким клочком летнего неба, видимого в окно. Осмотры, процедуры, кормление чуть ли не с ложечки, унижительная необходимость при нужде просить «судно»... Плохо слушалась левая рука, будто обручем стягивало голову, держалась резь в глазах.

И — раздражающее бездействие!

Ободряющая и вместе с тем печальная улыбка Рамзии над ним. Он знал: можно б было — она тут же взяла бы его боль на себя...

Понемногу разговаривали. О том, о сем... Про Айрата — ни слова. Он не спрашивал, она тоже молчала.

А он все же хотел знать, что же с ним, с сыном...

И однажды — шел уже шестой день, как он прикованно лежал в кровати, — Рамзия, просветленная, с повеселевшими и вроде бы сразу от этого помолодевшими глазами, войдя в палату, прямо от двери сообщила:

— Наш Айрат дома!

Рассказала, что всех троих отпустили — правда, пока под расписку о невыезде, но ей, Рамзии, Колесников дал понять: надо надеяться, все кончится хорошо... За Айрата ходатайствуют администрация школы и райком комсомола; неблагополучной обстановкой в семье Василия Мальшева, а следовательно — судьбой подростка занялась комиссия райисполкома; за Мансура Ардаширова поручилась молодежная бригада строителей, в которой он работает. Такие настойчивые эти парни и девчата со стройки — всюду побывали, в самые разные двери толкались, пока своего не добились!

Замявшись, Рамзия спросила:

— Нурулла... можно Айрату к тебе?

Он отвернулся к стене, глухо ответил:

— Нет.

— Хорошо, — поспешно согласилась Рамзия. — Как ты себя чувствуешь сегодня? Потерпи — завтра попробуем вставать...

— Ступай... пока, — по-прежнему глухо и требовательно произнес он, вдавливая лицо в подушку. — Буду спать.

Не хотел, чтобы она видела, какие у него сейчас глаза — мокрые.

— Правильно, Нурулла, вздремни. Сон — лучшее лекарство! — И, уже взявшись за дверную ручку, сказала Рамзия: — А знаешь, это тоже Колесников сообщил мне... про Байназа-

рова, адвоката. Что уж очень он, Байназаров, старался насчет ребят. Чтоб выпустили их и прочее. Ни ног, ни сил не жалел. Слышишь? Я всегда была уверена, что Акрам Хамитович не просто порядочный человек — душевный... Спишь уже? Ну, спи, спи...

Как только затихли в коридоре шаги Рамзии, Галиакберов осторожно спустил ноги с кровати, встал на пол, чувствуя, что вот-вот может упасть. Но все же кое-как доковылял до окна, с облегчением присел на стоявший тут стул. Кружилась голова — и ждал, чтоб поутихло в ней; только тогда откроет створки, выглянет наружу... Неожиданное доброе известие о сыне, принесенное Рамзией, возбудило его, и на какой-то миг — после тех неожиданных слез, за которые ему стыдно — обманчиво показалось: здоров! Да и болел ли? Прижало, прихватило, с кем в его возрасте не бывает... но уж не так, чтоб «очень-то»! Известно ж: у страха глаза велики!

Однако, сидя уже на стуле, вот здесь, у окна, грустно усмехнулся: «Ах, если б так-то — побежал бы отсюда, не удержать!»

Что Айрат наконец дома — не столько за него, сопляка, радовался, не за себя, а за Рамзию: успокоится хоть, и уже — ишь как сияет! Айрату, что побывал в КПЗ, увидел, в общем, что к чему, — ему, подумать, урок на всю дальнейшую жизнь... (И опять при воспоминании о сыне душа оставалась ровной, ни тепла, ни возмущения не было на сердце.) Ну а для него самого, для судьи Нуруллы Рахмановича Галиакберова?.. Для него чуть ли не все равно: так ли, по-другому! Он уже *перестрадал*; он тут вот, в больнице, и дуракам ясно — *почему*; всеми нелепыми событиями последних дней он словно бы

вырван из своей привычной замкнутости, служебной обособленности, из устойчивого мира его принципов, жизненных достижений, горделивого, полного достоинства самосознания... Вырван! Куда-то поставлен, где не ему место... черт ее знает кому, однако не ему, Галиакберову! Чтоб тыкали пальцем: смотрите... судья... а у самого?!

«Надо лечь, — подумал он, — опять в постель, добраться б до постели...»

Вновь усмехнулся: «Байназаров-то, а!» Но тоже, как при мыслях об Айрате, никакого чувства не шевельнулось в душе: есть такой человек по фамилии Байназаров, по должности адвокат — пусть себе. О своей судьбе нужно думать... ведь стронулось все, поехало вкривь, вкось, как собраться-то?! Выйти из больницы и сделать вид, что ничего не произошло, ничего не было и быть не могло?!

Нажал на оконные створки — и свежий верховой ветерок туго ударил в лицо. Как-никак палата на девятом этаже: высота! Пересилив новый приступ ознобистой слабости, глянул вдаль и вниз...

Поразительный по красоте, переливающийся зеленью и голубизной простор открылся перед затуманившимся взором Галиакберова. И снова проступили слезы — теперь уж, возможно, их ветер из глаз выжал. И выдохнул Галиакберов: «Какая... какая... — Слов не находилось, кроме одного: — *Жизнь!*» Затянутая легкой дымкой долина реки Белой, курчавые дубравы, обширные, в бурых прямоугольниках посевов поля, темные и серые шнурочки дорог, бегущие к еле различимым отсюда рыжим горам... А внизу — под рукой, можно сказать — широкая панорама миллионного города: крыши домов, шпили дворцов, трубы предприятий, строгие линии

проспектов, изумрудные вкрапления скверов, садов, аллей... как мозаика!

Жизнь...

Мчат машины — и сверху, из больничного окна, как спичечные коробочки они. А люди... с чем сравнить? С муравьями? Людской муравейник — да!

«Совсем близко—в слабом гуле механизмов, точечных вспышках электросварки, в движении кранов, с хорошо различимыми фигурками рабочих на лесах — живая картина большого строительства. Возводятся многоэтажные корпуса — сразу три или четыре, в комплексе.

Галиакберов пристальнее всмотрелся в тех, кто с мастерками в руках, опутанные какими-то тросами и шлангами, возились на строительных лесах, и вдруг ему показалось: одна из фигур поразительно напоминает Ардаширова... Мансура Ардаширова! Он даже вздрогнул от этого внезапного открытия. Навалившись на подоконник грудью, опять долго, томительно вглядывался: он ли, нет, ошибся, может?

Клубы дыма из чадных котлов, в которых кипела, скорее всего, асфальтовая смесь, на какое-то время закрыли видимость, а когда рассеялись — того, похожего на Ардаширова человека уже не было. Но что это?! Галиакберов перевел взгляд на другую фигуру в брезентовой робе—и опять что-то знакомое почудилось в ней! Кто бы это мог быть? Среди строителей он, Галиакберов, никого близко не знает... Чушь какая-то! Наваждение... Однако он почему-то помнит этого, одетого сейчас в рабочую спецодежду человека — с непомерно широкими плечами, словно бы втянутой в них головой, с короткими, чуть кривоватыми ногами... Помнит! Значит, не блажь — на самом деле... А что, если...

Галиакберова бросило в жар.

Конечно, нет! Просто игра больного воображения...

И тем не менее — помнит... факт!

Неужели он тоже когда-то выносил приговор этому вот — с квадратными плечами, низко посаженной головой — человеку?

Тот самый, что не мог дослушать слов приговора и заплакал, как ребенок? Он?!

Как звали его?

Да разве упомнишь... Сколько их, обвиняемых, прошло перед ним, Галиакберовым!

И разве мало было слез? Разве не падали в обморок близкие обвиняемого — матери, жены, старики, что неотрывно смотрели до этого на дорогого им человека, оказавшегося на скамье подсудимых, с жадным испугом внимали каждому слову судьи? А истеричные выкрики и даже запальчивые — в ненависти — угрозы ему, судье? Было, было... Как и другое — унижительные просьбы, причитания, попытки дать взятку, шантаж по телефону... За годы работы чего только не случилось, что не пережито!

И можно сказать себе: всегда он умел оставаться *судьей*, сохраняя выдержку, хладнокровие, следуя не эмоциям, а требованиям Закона. Да, да!

— Всегда! — вслух, с каким-то упрямым желанием, чтоб его слышали *там*, на строительных лесах, громко сказал Галиакберов и отшатнулся. *Оттуда* на него показывали пальцами тот самый, широкоплечий, и другой, снова появившийся, похожий на Мансура Ардаширова... Показывали пальцами и — было видно по их раскрытым ртам — дерзко смеялись!

Галиакберов отодвинулся вместе со стулом в глубь палаты, зажмурился, и хоть понимал

разумом, что снизу, на большом отдалении, никак не могли узнать его, выглядывавшего из окна с девятого этажа, абсурд это, — непонятный страх давил, сжимал сердце; сразу ослабли ноги, пересохло во рту... И не страх был, пожалуй. Неясная обида, большая, гнетущая, опустошающая тело и душу. На кого обида? Да важно ли... обида!

Едва не упав, ощущая, что в груди разгорелся пожар, там черно и пугающе пусто, Галиакберов дотащился до кровати, бессильно упал на нее. В сознании упорно удерживались те, вызывающе смеявшиеся люди в брезентовых спецовках... Галиакберову казалось, что он способен припомнить, как фамилия человека, заплакавшего при вынесении приговора. Еще одно, совсем маленькое усилие — и непременно вспомнит. Только нужно это самое крошечное напряжение памяти... Ну — давай же, давай!.. Однако наконец фигуры растаяли, растворились в призрачной дымке, и вместо них — смутно различимые лица, десятки лиц, а он, Галиакберов, совладавший с собой, такой же, как прежде, сильный, уверенный, один за другим зачитывает приговоры. Один за другим, наслаждаясь трепетом обвиняемых, смятением зала, своей властью... властью!

«Да что же это я? С ума схожу!» — беззвучно закричал Галиакберов. Хоть бы кто-нибудь вошел в палату, отвлек его от этого кошмара. Что — парализована его воля, он сам не в состоянии привести в ясность свое сознание? И как горит в груди... воды, залить водой! Лишь бы дотянуться до стакана... Где Рамзия? Медсестру бы...

Половина воды из стакана вылилась на подбородок, на грудь — но несколько глотков все

же хватило, чтоб сразу стало легче, и даже вроде б голова прояснилась; Галиакберов, донельзя истомленный кошмарными картинками, тихо произнес: «Ну и ну!» Прислушался к своему голосу — тонкому и сыроватому, утерявшему всегдашнюю твердость. Опять видел в верхней части окна бледно-синее небо с кудрявыми завитушками облаков, и представилось только что прочувствованное: волнующе устремленный в даль земной простор, ярко расцвеченный зелеными и голубыми красками, манящий к себе, близкий и... недостижимый. «А ведь одна из дорог, что тянется к горам, слабая, как ниточка, на которую смотрел я, — она же к моей деревне бежит, — подумал Галиакберов, сам поражаясь неожиданности и простоте своего открытия. — Верно! От города — к моей деревне. Должна помнить меня эта дорога...»

Галиакберов уходил в сон, а может — не в сон; просто чудилось ему, что погружается он в мерцающую синеву раздольной полевой шири, и вот уже над его головой желанная тень придорожных деревьев, а вокруг — ласковый шелест высокой шелковистой травы, в которой проступают белые головки ромашек... Журчит, обмывает желтые камушки реченька Акташ, прохладны ее берега, прохладна и чиста вода ее. Речка детства. И ты должна меня помнить! Не забыла?

«Забыла, — очнувшись, говорит себе Галиакберов, и странно ему: да что это с ним? То кошмарные видения, то сентиментальные. Но повторяет с грустью: — Забыла...» Годами не выбирался в родные места он, не испытывал необходимости в этом, а когда казалось, что надо бы съездить, что-то тревожно подталкивало к этому, — находились неотложные дела, бы-

ло чем отвлечь себя... За последние десять лет приезжал в свою деревню всего один раз — по телеграмме старшего брата, праздновавшего шестидесятилетие. Брату хотелось, чтоб за столом непременно сидел он, Нурулла, большой — по понятиям земляков — человек, и чтоб все видели это: председатель колхоза, заведующий местным магазином, директор маленького маслозавода, все-все гости. У брата семеро сыновей и дочерей, у каждого из этих семерых — уже свои детишки. Целая детская колония! И брат — видел Нурулла — радовался обилию наследников, тому, что их по пальцам не пересчитать — собьешься!

«А у меня один, — встряхиваясь, опять из полузабытья возвращаясь к яви, сказал себе Галиакберов. — Один... Поздно родился и... будто сорняк на поле. Посеяли, а как растет — не смотрели. Не рядом он — сбоку... Может, хороший, а может, плохой — я разве знаю? Что с ним в жизни будет? В художники пробьется иль на какой-нибудь аванюре шею сломает? Ни за что не поручишься... не знаю я его! Совсем не знаю...»

Вроде б отлегло немного — дышать легче стало, можно свободно, без боли руками шевелить, ноги сгибать; и, вероятно, не больше часа прошло, как он один в палате: ни медсестры, ни Рамзии... Возможно, меньше. Надолго ж одного не оставляют.

«Да, — снова подумал он, — не поручишься... Но на что ж я тогда тожусь, если за собственного сына не могу поручиться? Говорят, способный он, может заметным среди других стать... Впрочем, важно ли — кем станет? Человеком! А я не могу поручиться... а?!»

Торопливые шаги перед дверью... Разве по ним не узнаешь — кто? Рамзия. Она!

Наклонилась.

— Вот и я... не соскучился?

Скользнула взглядом по палате, увидела открытое окно; тревожно спросила:

— Уже вставал? Один? Нурулла?

— Нет,—солгал он.—Ветер...

— А я напугалась... Что чувствуешь?

— Сломался.

— Ну что ты, Нурулла-а! Кризис миновал, лежишь тут два-три дня—и домой поедem. Домой! Там я тебя быстро на ноги поставлю, увидишь... Перенапряжение, отсюда все твои страхи. А у меня для тебя новость!

В глазах ее—радостные искорки.

Он ждал, хотя—было как-то все равно... то ли, другое... все равно!

— Звонили с твоей работы. Ну приветы, пожелания—само собой... А вот что еще... Просят, чтоб ты письменно... слышишь, письменно!.. уведомил о своем согласии баллотироваться на новый срок. Тебе, слышишь, предлагают баллотироваться... Нурулла! Перевыборы-то—вот уже они... И тебя просят! Поздравляю и целую!

Рамзия звучно чмокнула его в небритую, затянутую густой серебристой щетиной щеку; засмеялась:

— Колю-ючий! Завтра—и вставать, и бриться! Как, товарищ судья... нового созыва? Будем вставать и красоту наводить?

Он молчал.

— Будем,—весело, суется, повторяла Рамзия,—будем...

Подушку поправила; влажной салфеткой вытерла ему лицо; еще поцеловала—в другую щеку. А в глазах ее было недоумение: почему муж никак не отзывается на новость? Ведь кто-кто,

а уж она-то знает, как переживал Нурулла из за этого: выдвинут — не выдвинут? Будет дальше судьей—не будет?.. Принесла радость, успокоение—а он молчит! Плохо ему?

— Нурулла...

— Значит, письменное уведомление?

— Вот именно! Не больше ж десяти слов, правда? Завтра сможешь написать... помогу. Рад... что... что все в порядке?

— Наверно, рад.

— Как это—«наверно»?

Он пожал плечами; и, поняв, что своими словами совсем сбил жену с толку, беспокойство на ее лице,—успокаивающе произнес:

— Другого не ждал. И знаешь, Рамзия...

— Что, Нурулла?

— Знаешь... в общую палату меня, может быть?

— Скоро же домой... И почему?

— Так. А вообще-то до твоего прихода казалось: лучше в общую... А вот ты здесь—и не надо! Ты здесь—и ничего больше не надо... Почему плачешь? Вот так тебе скажи что-нибудь—ты плакать!

— Это не слезы, Нурулла... это счастье...

— Рамзия...

— Да, милый?..

— Встану—первым делом в деревню мою поедем.

— Летом в деревне хорошо—я согласна.

— Судьям подобает более учености, чем остроумия, более почтительности, чем искусности в доказательствах, более осмотрительности, чем самоуверенности...

— Ты о чем, Нурулла?

— Это не я. Фрэнсис Бэкон. Был такой мыслитель.

— К нам, врачам, приложить можно. Более почтительности... более осмотрительности...

— Удивительно.

— Что?

— Когда-то, лет двадцать тому... больше, еще в студенческие годы... вычитал, а только теперь припомнил! До буквочки, по-моему, до запятой.

— У памяти, Нурулла, свои законы.

— Есть свои законы—есть, следовательно, свой суд,—он хрипло засмеялся, и странным был этот смех: кривились губы, дергались небритые щеки, а глаза были неподвижными и тоскливыми.

Еще часа три провела у его постели Рамзия.

Порывалась рассказать, что Айрат с утра до вечера сидит над учебниками—ему разрешили сдавать экзамены по индивидуальному графику; уже один предмет им сдан. Догонит одноклассников! И может, не справился б, особенно с математикой, но та чудесная девочка рядом с ним—Фарида... Такая девочка—слов нет! И Наталья Андреевна все время возле—подбадривает, подстегивает, хотя Айрат... *как вернулся...* его подстегивать не требуется!

Порывалась рассказать, однако муж упорно обходил молчаньем имя сына—и Рамзия не решилась...

Сбегала в кабинет—по его просьбе принесла бумагу и шариковую ручку.

— Не переутомляйся,—озабоченно заметила ему.— Всего десять слов: согласен... благодарю за доверие...

— Доверие,—сказал он, и она уловила в его голосе гордость.—Не всякому... доверие.

Нурулла Рахманович, тем более Рамзия, не

могли, конечно, знать, в каких спорах утверждалась кандидатура Галиакберова, как трудно на этот раз прошел он в списки на новый выборный срок... Трудно, со скрипом; причем было сказано: «Болеет же человек — на пенсию, возможно, скоро придется отправлять... А раз болен—как не поддержать?»

Эпилог

Утром, еще не совсем развиднелось на улице, первый трамвай только что прозвенел, — Рамзия была уже в больнице.

Тихонечко, стараясь не разбудить Нуруллу, открыла дверь палаты, так же осторожно приотворила ее за собой; стала выгружать из сумки кастрюльки с едой, всякую легкую домашнюю снедь, баночки с соком... На тумбочке белели исписанные листки; она взяла их в руки—вчитывалась, чувствуя нарастающее волнение, в аккуратные строки:

«Многоуважаемый товарищ Председатель Верховного суда республики!

С большой благодарностью воспринял я известие о Вашем решении рекомендовать мою кандидатуру на очередной выборный срок. Вдвойне было приятно узнать об этом в дни болезни, когда нервы особенно напряжены. Оказанное мне доверие расцениваю как признание с Вашей стороны моей многолетней работы на судебском поприще, моей полной преданности этой ответственной государственной службе. Я всегда старался быть принципиальным и справедливым, неукоснительно придерживался всех норм и требований, установленных Законом. Знаю, что моя твердость и непреклонность в

проведении процессов не всегда нравилась кое-кому из моих коллег, но я не мог ориентироваться на чьи-то симпатии и антипатии, следуя незыблемому правилу: *diga Lex, sed Lex!*»

Рамзия знала это латинское выражение: не раз слышала, как Нурулла с удовольствием, даже с какой-то подчеркиваемой гордостью приносил его: «*Diga Lex, sed Lex!*—Закон суров, но это закон!» Подумала Рамзия: «Как к месту тут... молодец!»—и дальше читала:

«Вот почему мне крайне дорога оценка моих скромных... *(Тут несколько слов оказались зачеркнутыми, а новые не вписаны.)* Однако, выражая Вам свою глубокую признательность, я должен сообщить нечто такое, что лично Вам, товарищ Председатель, возможно, покажется удивительным. Я пришел к выводу, что мне следует отказаться от баллотировки на новый срок, и я постараюсь объяснить почему...»

На этом письмо обрывалось.

Рамзия, пораженная, растерянная, прижимая листки к своему белому халату, взглянула на лицо мужа. Синие сумрачные тени лежали на его щеках, под глазами, делали темными, почти черными его приоткрытые губы... Рамзия все еще продолжала думать, что он спит, и ощущала досадливое нетерпение — скорее узнать, спросить о том, на что не было ответа в письме:

«Почему?»

СОДЕРЖАНИЕ

Эрнст Сафонов.

5 Из зала суда

9 Вина

89 Приговор

ХАКИМЬЯН САРЬЯРОВИЧ
ЗАРИПОВ

ПРИГОВОР

Повести

Редактор
Б. РОМАНОВ
Художник
А. АЛЕШИН
Художественный редактор
В. ПОКУСАЕВ
Технический редактор
Л. ДУНАЕВА
Корректоры
Л. АНТОНОВА, М. СТРИГА

Сдано в набор 28/X-1976 г. Под-
писано к печати 30/III-1977 г.
А09233. Формат изд. $70 \times 90^{1/32}$.
Бумага тип. № 1. Печ. л. 9.
Усл. печ. л. 10,53. Уч.-изд. л.
11,09. Тираж 30 000. Заказ
№ 4797. Цена 82 коп.

Издательство «Современник» Го-
сударственного комитета Совета
Министров РСФСР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной
торговли и Союза писателей
РСФСР
121351, Москва, Г-351,
Ярцевская, 4

Рязанская областная типография
390012, Рязань, Новая, 69 /12

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Ваши отзывы о книге — ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении просим направлять по адресу:

*121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4
Издательство «Современник»*